

Брашов В.А.

18+

# Мушкетёры

## Тихого

## Дона



Владимир Ерашов  
**Мушкетёры Тихого Дона**

«ЛитРес: Самиздат»

2020

## **Ерашов В. А.**

Мушкетёры Тихого Дона / В. А. Ерашов — «ЛитРес: Самиздат», 2020

Это русский вариант «Трёх мушкетёров» А. Дюма, где вместо мушкетёров короля городские казаки, враждующие с царскими стрельцами, вместо гугенотской Ла Рошели турецкий Азов, а вместо фехтования на шпагах казачье боевое искусство. Главный герой Дарташов со своими друзьями: сыном боярским Порфирием Затёсиным по прозвищу Затёс; потомком Кара-Гильдей хана Карамисом и запорожцем Опанасом Портосенко служит у атамана Тревиня, борясь против коварных интриг думного дьяка (и тайного иезуита) Ришельского-Гнидовича, мечтающего создать на юге России прозападное и подчиняющееся Ватикану государство «Речь Гнидовитая». А помогает им в их борьбе за правое дело казачье боевое искусство, мастерами которого они все являются. Книга написана в жанре историко-приключенческого романа автором, посвятившим три десятилетия своей жизни возрождению казачьего боевого искусства и имеющим официальный титул в Международной Конфедерации боевых искусств.

© Ерашов В. А., 2020

© ЛитРес: Самиздат, 2020

## Содержание

Вместо предисловия, казачье-мушкетёрская легенда	6
Пролог	15
Часть 1. «И положиша тады ён свою козацку саблю, на алтарь служения русскому государю»	18
Началось... или почему это "Поле" называется "Диким"	18
"Граница на замке!" или на кордоне русского государства	23
В менговском остроге	26
Прибытие в Воронеж и начало светской жизни	30
В казачьем стане батьки Тревиня	32
Дуэль по-казачьи	49
У князя-воеводы	61
Ришельский-Гнидович	67
"Речь Гнидовитая"	70
"Шерше ла фам" или "шукайте жонок"	75
В бастильской слободе у Ришельского-Гнидовича	80
Гнев князя-воеводы	83
Опять "шерше ля..." или Костянка Бонашкина, как первая русская фрейлина	90
Княгиня Анна	98
Шведский дзюльфакар хану в обмен за византийскую чикилику и... развод на майдане	101
Начало похода	104
Часть 2. "За други своя!" или чикилики княгини Анны	107
Проверки на дорогах	107
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Книга написана Владимиром Алексеевичем Ерашовым, донским казаком, посвятившем три десятилетия своей жизни возрождению казачьего боевого искусства и достигшем на этом поприще некоторых успехов (официальный титул в Международной Конфедерации Боевых Искусств – Grandmaster in national fighting systems).

По большому счету, это издание о наших национальных единоборствах, но только изложенное не в скучно-привычном виде учебно-методического наставления, а в виде завлекательного историко-приключенческого романа по фабуле бессмертных «Трёх мушкетёров» Александра Дюма.

Язык книги слегка ироничен, иногда, по возможности, приближаясь к разговорному языку той далекой эпохи (в том виде как его понимает автор). При этом необходимые по повествованию «украинизмы» представлены знатоком украинской «мовы» и кубанской «балачки», народным казачьим художником и просто замечательным человеком Андреем Петровичем Ляхом. Им же нарисована и обложка, где можно лицезреть его облик в колоритном образе Портоса (верхний ряд слева), а автора данной книги – справа.

Приятного Вам прочтения.

## Вместо предисловия, казачье-мушкетёрская легенда

Правда то или нет, но издавна в казачьей среде ходит одна романтическая легенда, самым причудливым образом переплетающая между собой казаков России и... королевских мушкетёров Франции.

Что в этой легенде правда, а что вымысел – судить не берёмся, но основывается она на том бесспорном факте, что автор бессмертных «Трёх мушкетёров» Александр Дюма-отец, будучи по своей натуре человеком импульсивным и весьма любознательным, как-то раз сподобился побывать в России. Причем в конце своего российского вояжа, после светского приема, устроенного ему одним из калмыцких ханов, Дюма в поисках новых приключений отправился на Кавказ (об этом факте в советское время даже фильм сняли).

А на Кавказе в то время, как всем хорошо известно, шла самая настоящая война, впоследствии получившая название «Кавказской». Объяснялась она тем геополитическим обстоятельством, что если бы такой по-южному благодатный и стратегически важный край в ближайшее время не стал бы югом России, то со стопроцентной уверенностью он рано или поздно стал бы севером Турции со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот для того, чтобы этого не случилось, в первой половине девятнадцатого века северокавказский край подвергся активной русской колонизации. Причем основными «колонизаторами» Кавказа, той движущей силой, благодаря которой Российская государственность с боями и кровью продвигалась в глубь кавказских гор, выступали не кто иные, как казаки. Впоследствии их назовут терскими и кубанскими.

Это всё широко известно, но вот тот факт, что будущие кубанские казаки изначально по своему происхождению были весьма даже разнородными, известен уже далеко не каждому. И если начало освоение Кубани, вне всякого сомнения, было по указу императрицы Екатерины положено запорожцами, то продолжено оно уже было не только ими. Хорошо понимая, что строительство на Кубани Кавказской Линии в условиях непрекращающейся войны требует много «строительного материала» (читай пушечного мяса), царское правительство всеми силами, откуда только было можно, направляло на Кавказ все новые и новые партии казаков. Но всё равно на полыхающей огнём войной Кавказской Линии казаков катастрофически не хватало.

И вот тогда, по особому решению правительства, в России была окончательно упразднена городова казачья служба, институт которой существовал на Руси ещё ни много ни мало, а с конца четырнадцатого столетия (а если быть точнее – то со времен разгрома Золотой Орды Тамерланом). Так что по прошествии пяти веков своей истории, в веке девятнадцатом, все казачьи городовики вдруг оказались поставлены перед следующей дилеммой. Или оказаться лишенными казачьего сословия и быть зачисленными в обычные мещане, или опять, как и встарь, с саблей в руках отправиться на рубеж русского государства, каковым в то время была истекающая кровью Кавказская Линия.

Линия, где в лучших традициях русского порубежья, всего было вдоволь. И неистово сражающихся с христолюбивым воинством басурман, – и полыхающих огнем селений. Разве что вместо ордынских улусов были горские аулы, а вместо русских деревень – казачьи станицы. В общем, всего того, без чего невозможна полномасштабная, да ещё и межконфессиональная война, на Кавказе с лихвой хватало. Плюс ко всему этому – абсолютно непривычный для жителей среднерусской полосы горный ландшафт со своим непонятным климатом...

Кто-то из бывших городовиков, так и не рискнув лишиться себя сытной и спокойной жизни в уютной глубинке России, с облегчением убрал родовую казачью саблю в чулан, и, нахлобучив на голову вместо казачьей папахи обычный картуз, предпочел благополучно перейти в мещанство. А кто-то, (причем таких было большинство), не мысля своего существования вне каза-

чества, взял в руки оружие и оправился сражаться на Кубань. Среди них оказалась и команда бывших городских казаков славного города Воронежа. И вот тут-то, согласно легенде, и всплывает имя знаменитого Дюма, который, якобы, встретился с этими бывшими воронежцами на Кавказской Линии, осматривая последнюю в поисках новых впечатлений.

Руководил же воронежской командой, как гласит легенда, уже достаточно пожилой, но, тем не менее, ещё весьма бодрый казак, носивший пусть и невеликий, но всё же офицерский чин казачьего сотника (по-нынешнему – старшего лейтенанта). Звали его Никифором Дарташовым, хотя все новоиспеченные линейцы вне строя запросто величали его дедом Никишкой. Надо сказать, что этот дед Никишка имел весьма примечательную внешность, сразу же обратившую на себя внимание Дюма.

Он был дороден и величав статью, и как безошибочно угадывалось с первого взгляда, обладал недюжинной физической силой, при этом сотник был седовласо усат и красиво, прямо-таки по-молодецки кудряв. Кроме того, он, несмотря на достаточно хмурые условия полыхающей вокруг войны и перевязанную после ранения руку, был доброжелательно открыт и весел. В общем, по облику тот же самый Александр Дюма – только значительно постарше. Отчего знаменитый писатель сразу же и проникся к деду Никишке подсознательной симпатией.

А тут ещё выяснилось, что, будучи ветераном Наполеоновской кампании, этот пожилой казак за время войны 1812 года и последующего пребывания в Париже, умудрился довольно-таки сносно выучить французский язык. И хотя «Трех мушкетёров» дед Никишка не читал, он, тем не менее, не мог удержаться от соблазна «побалакать на французской мове» с заезжим «мусью», светским тоном осведомившись у него о том, как там теперь в Париже? Мол, остались ли в столице Франции, после ухода из неё казачьего корпуса атамана Платова, так удачно внедренные с казачьей подачи в парижскую жизнь «бистро» или нет? Да и вообще, кто там теперь в этой не то по-якобински революционной, не то по-бонапартистки императорской Франции «зараз в ей правит»? Какая там нынче власть? Карбонариев али Наполеонов?

Поскольку, так уж получилось, что в этих откровенно диких кавказских краях образованные и блестяще владеющие французским языком офицеры-дворяне почему-то были редкостью, то Дюма, истосковавшись по полноценному общению, предложенный разговор охотно поддержал. Слово за слово, и по извечным правилам расейского гостеприимства, светская беседа плавно перетекла в традиционно-славянское застолье. Благо по случаю легкого ранения черкесским кинжалом в руку, полученным в недавнем бою за какой-то горный аул с неприспособленным для французского уха названием, казачий сотник сейчас находился не на службе и потому мог себе позволить немного расслабиться.

И вот якобы там, в казачьей землянке, сидя за грубо сколоченным, уставленным разномастными бутылками столом, после того как сотник случайно сдернул закрывающую стену бурку, Александр Дюма и узрел висящую на бревенчатой стене старинную картину. Причем старинной она была уже даже тогда – в том, столь сейчас далеко от нас девятнадцатом столетии.

Это была типичная для семнадцатого века, как её называли в те времена, «парсуна». То есть предмет портретной живописи, мода на написания которых появилась на Руси после Смутного времени. Когда иноземная культура, незадолго до того изгнанная взащей с Руси вместе с иностранной интервенцией, повторно, и на этот раз можно даже сказать, что достаточно деликатно, робко вернулась обратно на русскую землю. Но уже не в виде хищнической своры новых европейских «конкистадоров», а в виде отголосков эпохи Возрождения. А в том, что, судя по манере письма, принадлежала эта картина кисти именно европейского, а не русского живописца, Александр Дюма, неплохо разбираясь в различных искусствах, в том числе и изобразительном, нимало не сомневался. Примерно такие же произведения портретного жанра семнадцатого века ему в изобилии доводилось видеть, например, в Лувре или в Версале.

Хотя там они вроде бы такие же... но... как не без изумления отметил Дюма, более внимательно присмотревшись к картине сквозь царящий в землянке полумрак, эта «парсуна» была всё же иной. Явно не версальской, поскольку, даже принадлежа кисти европейского художника (скорее всего из фламандцев), она была написана им в стиле, если можно так выразиться, очень раннего «а ля рюс».

А как это ещё можно было назвать, если вместо привычного изображения какого-нибудь маркиза или, на худой конец, обыкновенного французского шевалье, на изрядно потемневшем от вековой пыли холсте, гордо приосанившись и картинно положив, как оно водится на подобных полотнах, руку на эфес оружия, в полный рост стоял... казак. Причем казак, имевший неуловимые, но, тем не менее, явственно проглядывающие черты, придававшие ему несомненное сходство с сидящим по другую сторону стола дедом Никишкой. При этом в том, что это был именно казак, а никто другой, у Дюма и тени сомнений не возникало. За время своего русского вояжа он на них уже достаточно насмотрелся, научившись своим острым взглядом безошибочно выделять красиво-мужественный казачий облик из всех других этнических типов Российской империи.

На голове изображенного на холсте казака, как оно казаку и положено, красовалась меховая *папах*<sup>1</sup>, из-под которой гордо выбивался выющийся чуб, а на его левом боку висела отнюдь не положенная по жанру европейской портретной живописи шпага, а кривая, какого-то хищно-азиатского вида сабля с отсутствующей *гардой*. Примерно такая же, что и сейчас красуется на боку у деда Никишки. Одним словом, казак – он и на европейском портрете – казак. Хоть сейчас давай ружьё в руки – и вперёд на Кавказскую Линию. Всё вроде бы как положено, но вот то, что было на этом нарисованном казаке надето, как говорилось у этих русских, «ни в какие ворота не входило». И могло, по мнению Дюма, как минимум претендовать на открытие какого-нибудь нового, уж очень суперсюрреалистического направления живописи.

Тело изображенного на холсте казака, вместо положенной ему «по штату» кавказской бурки или русской епанчи, покрывал... ниспадающий со всех сторон, небесно-голубой ПЛАЩ КОРОЛЕВСКИХ МУШКЕТЁРОВ Франции первой половины семнадцатого столетия!

Именно так. И уж кто-кто, а такой знаток истории, как Александр Дюма преотлично знал, кто именно в ту романтическую эпоху носил на плащах вот такие белые кресты, в центре которых алели красные язычки пламени, а на концах золотились королевские лилии династии Валуа... Тем более, что именно такой же мушкетерский крест был вытеснен на кожаной обложке его лежащего в кармане сюртука походного блокнота, который он всегда возил с собой в путешествиях для занесения в него путевых заметок.

Первоначально, при виде точно сошедшего со страниц его романов мушкетерского плаща, писатель даже зажмурился, приписав наличие столь сюрреалистической картины действию местного вина. Но, открыв глаза, он убедился, что воздействие казачьего *чихиря* здесь ни при чем. Казачье-мушкетёрский портрет был всё так же в наличии, по-рыцарски белея своим крестом на бревенчатой стене этой убогой землянки, вырытой в каменистом кавказском грунте.

На недоуменный вопрос Александра Дюма «Кеске се?», дед Никишка крепко задумался, мысленно разгибая пальцы и прикидывая, сколько именно приставок «пра-пра» имеется у этого, дошедшего из глубины веков изображения его пращура.

– Се мон гранд пэр, мсье, – ответил дед Никишка, и, соотнеся русское «пра» с французским «гранд» многократно его повторил, каждый раз разгибая очередной палец. Вскоре, видимо, сбившись со счета, сотник махнул на всё это рукой и, чокнувшись со сгорающим от любопытства Александром Дюма, поведал ему некую историю.

Что, мол, на парсуне изображен его предок, живший ещё в семнадцатом веке, что звали его Ермолаем, что был он из старинного казачьего рода Дартан-Калтыка и что именно после него Дартан-Калтыки, перейдя на русскую службу, стали Дарташовыми. По поводу же наличия

на казаке «ле роб де мушкетёр», то бишь мушкетёрского одеяния, сотник и вовсе начал рассказывать столь невероятную историю, что даже у Александра Дюма, человека, как известно, отсутствием фантазии отнюдь не страдающего, буквально перехватило дух, отчего он, даже закашлявшись, поперхнулся терпким чихирём. Откашлявшись и уже вполуха вслушиваясь в становившийся всё более невероятным рассказ, причём явно делавшийся таковым по мере усиления интенсивности винопития, Дюма прищурился, и задумчиво покручивая пышный ус, стал внимательно всматриваться в портрет.

Как известно, великий писатель был не только непревзойденным мастером сюжетной интриги и отличным знатоком истории, но при этом ещё и великолепным физиономистом. Потому его устремленный в изображение казака семнадцатого столетия взор и смог разглядеть в нем то, что для обычного человека так и осталось бы незамеченным.

«...Прямой благородный нос... пронзительный взгляд небесно-синих глаз... слегка подкрученные кверху усы... твердый волевой подбородок... чуть широковатые скулы, выдававшие природное упрямство... да еще и явно южная чернявость волос...

В общем, всё прямо-таки как у... настоящего гасконца!..» – озарением пронеслось в голове Александра Дюма. И эта, на первый взгляд, поражающая своей нелепостью мысль (как же – Россия – казак, и вдруг гасконец), привела писателя в возбужденное состояние, бывшее сродни состоянию охотника, наконец-то учувшего долгожданную дичь... или Архимеда перед выкриком знаменитой «эврики»...

«...Так, так, так... гасконца? А почему бы и нет?» – продолжал размышлять великий писатель. Ведь если убрать эту похожую на дамскую муфту папаху, вместо дикого курчавого чуба мысленно пририсовать ниспадающие до плеч локоны, то...

...то получится ни дать ни взять, портрет Д'Артаньяна! Останется только поменять азиатскую саблю на валлонскую шпагу, и хоть сейчас в Лувр или на Елисейские поля...

«...А может и не стоит менять?» – включился в навеянную портретом фантазию рациональный голосок профессионального литератора. А что, если оставить всё как есть и только поменять антураж? То есть перенести место действия из Франции в Россию? А перенеся, тем самым заменить французскую галантную куртуазность на исконно расейскую кондовость и посмотреть, что же из того получится. А что? «Се ла комильфо»... «не с па»?

В этом явно есть свой «шарм» и «магнифик»... – так или примерно так размышлял величайший романист эпохи. И уже совсем не слушая маловразумительных разглагольствований вконец разошедшегося сотника, Александр Дюма всё больше и больше погружался в свои писательские думы. И, как гласит легенда, вот тут-то его и осенило!

Ну, чем, скажите на милость, не сюжет для нового романа!

Да ещё такого, что поостывшая было после его «де Бражелонов» к мушкетерской теме и уже донельзя пресыщенная дуэлями и шпагами французская публика просто-напросто ахнет. А если и не ахнет, то все равно восторженно воскликнет своё традиционно французское: «ой-ля-ля!». Да и попутно поднимет тираж изданий, что тоже весьма даже немаловажно...

Ведь именно этакой причудливой смеси первозданной славянской диковатости с настоящим, прямо-таки рыцарским благородством, по большому счёту, изысканному французскому читателю для получения им полной остроты ощущений и не хватает! Что, впрочем, и понятно, поскольку проистекают все французские литературные сюжеты исключительно в рафинированной атмосфере кружевных воротников и шёлковых перчаток, где эту самую диковатую остроту ощущений и днём с огнем не сыщешь. А мы тут ему, этому пресыщенному читателю, возьмём, да и преподнесём: вместо фламандских кружев посконную сермягу, а вместо ботфуртов лапти.

Нате, мол, вам, мсье, экзотическую кулебяку со сбитнем вместо традиционного какао с круассаном...

Плюс ко всему, всё ещё сохранившийся в народе Франции после Наполеоновских войн, искренний интерес к казачеству. Да и вообще, не стоит забывать о том демографическом факте, что именно после стояния в Париже казачьего корпуса атамана Платова в нём резко возросла рождаемость...

А поскольку теперь этим живым воплощениям франко-казачьей дружбы где-то около сорока, то есть люди они уже вполне состоявшиеся, то и деньги жалеть на роман о своих малоизвестных предках они вряд ли будут. Потому как давно известно, что зов крови – есть зов крови, и уж его-то обмануть никому невозможно...

Так, или примерно так, согласно легенде, размышлял великий писатель. А поскольку человек он был весьма даже решительный, то уже на следующий же день Александр Дюма, натянув на себя ради вхождения в образ черкеску деда Никишки с погонами казачьего сотника и лихо нахлобучив набекрень кубанку, уселся за стол, решительно отодвинув в сторону как теперь нечто абсолютно ненужное многочисленные бутылки с недопитым чихирём.

И вот якобы там, в этой затерянной среди Кавказской Линии убогой землянке, сидя под сенью старинной парсуны, охваченный небывалым вдохновением величайший мастер приключенческой литературы и начал своим знаменитым каллиграфическим почерком с бесчисленными кудреватými завитушками, заносить в свой украшенный мушкетёрским крестом блокнот наброски нового романа. Озаглавлен он был, не без тонкого намёка на некую ассоциативную аналогию «Les trois bouzateurs», а на его титульном листе, там, где положено было бы быть фамилии автора, скромно красовалась надпись «Alexander D.».

Помогал же в работе над «Тремя бузотерами» «Александр Д.» дед Никишка, отнесшийся к французской затее со всем пылом своей неумолимой казачьей натуры. Он охотно и весьма деятельно предоставлял писателю необходимые ему для написания романа российские реалии, будучи при нём кем-то наподобие консультанта по «ле кестьон дан ля рюс». То есть по русскому вопросу. И та информация, что получал Дюма от деда Никишки, позволяла ему даже вполне вроде бы традиционные, если не сказать, что заезженные литературные эпизоды, вдруг к удивлению для самого себя, представлять совершенно в другом свете. И не только представлять, а порой даже выводить их в абсолютно неожиданные сюжетные линии, с совершенно иной, напрочь лишенной куртуазности морально-нравственной основой. Но при этом непременно с каким-то непередаваемым, пусть зачастую и по-русски тяжеловесным, но всё-таки шармом.

Плюс ко всему, к полнейшему изумлению Дюма, по мере вникания в российскую действительность исследовавшего аналогии по линии «казачья сабля – мушкетёрская шпага», перед ним вдруг открылся совершенно новый, доселе неведомый ему пласт русской культуры, который он окрестил как «ле арт арме де козак». То есть казачье боевое искусство.

Углубившись же в него, Александр Дюма вдруг с болью в своем насквозь французском сердце, с величайшим прискорбием был вынужден осознать тот очевидный факт, что его мушкетёры с их шпажонками против казачьего боевого искусства, гм... как бы это помягче сказать... в общем, не особо конкурентноспособны. Примерно так же, как кавалерия Мюрата на Бородинском поле против казаков атамана Платова. Вот такая, для истинного француза получилась откровенно невесёлая «се ля ви»...

Познавал же казачье боевое искусство Дюма, естественно, с помощью деда Никишки, который несмотря на ранение и более чем почтенные года, в этом деле оказался настоящим «маэстро». Рассказывая что-то Дюма, сотник мог выхватить шашку и начать наглядно демонстрировать ей какое-либо вращательное движение. А поскольку свободного места в землянке было не очень много, то в целях экономии последнего, дед Никишка, совершенно спокойно и даже не прерывая разговора, мог вращать немалого размера шашечный клинок... между своими узловатыми и крепкими, как корни дерева, пальцами. А мог, выйдя вместе с Дюма из зем-

лянки, с маху запрыгнуть на коня, и неожиданно вскочив в седло ногами, так стоя и проскакать вдоль берега, на скаку, шашкой и кинжалом срубая ветки встречных деревьев.

«Куда там до этого французским вольтижёрам...» – горестно вздыхал Дюма, с изумлением наблюдая, как стоя рядом с ним, сотник вдруг падал на бок и боком начинал быстро перекатываться по земле, умудряясь в процессе всего этого выхватить подаренный ему писателем капсюльный пистолет. А выхватив, взвести курок, и не прерывая качения, каким-то непостижимым образом ПРИЦЕЛЬНО выстрелить, да ещё так, чтобы сбить пулей сидящую на сторожевой вышке ворону.

Зато всего того, что касалось благородной дуэли, дед Никишка вообще не понимал. По его понятию такой ситуации, чтобы и казак был один, и его противник тоже был бы один – вообще никогда не существовало. Потому как всегда, противников у казаков оказывалось весьма и весьма «боку». То есть много, а то и вообще «боку» с приставкой «гранд». Да что там далеко ходить, приводил резонный довод сотник, если даже сейчас, вот их – казаков на этой заставе где-то всего с полсотни, а воюющих с ними горцев аж несколько аулов. Как ни крути, а иначе как «гранд боку» такое количество противника и не назовёшь...

Спорить с подобными доводами было затруднительно. Да Дюма и не спорил. Он принимал всё именно так – как оно есть, старательно вникая своим пытливым умом как в диковато-непонятные российские реалии, так и в столь загадочную и малопонятную для иностранца русскую душу. А, досконально вникнув, гением своего таланта начинал в очередной раз выводить такую сюжетную интригу, в которой даже он сам, уже дойдя где-то до середины, всё ещё не знал, каким именно будет её конец. При этом конец интриги всегда получался захватывающим и абсолютно неожиданным, да ещё неизменно, каким-то прямо-таки пронзительно нравственным.

Как известно из трудов многочисленных биографов великого писателя, Александр Дюма обладал исключительной, можно даже сказать фантастической работоспособностью. И потому уже где-то через неделю кропотливой работы его блокнот оказался полностью исписанным, а роман готовым. Оставалось только по приезде во Францию его слегка переработать, и тогда эту настоящую, заделанную на русском порохе литературную бомбу вполне можно было бы отдавать в издательство.

Но вот тут-то о том, что именно у Дюма дальше не заладилось, легенда умалчивает...

Вполне может быть, что не захотел родоначальник мушкетёрского жанра дискредитировать благородную мушкетерскую шпагу, сравнивая её с казачьей саблей в явно невыгодном для неё свете. Или же, будучи до мозга костей патриотом Франции, и предчувствуя скорую Крымскую войну, где России опять придётся скрестить оружие с его родиной, Дюма не посчитал возможным пропагандировать боевое искусство «потенциального противника». Кто знает? Но только уехал Дюма с Кавказа, лишь прихватив с собой на память казачью черкеску с кубанкой. При этом блокнот с вытесненным на обложке мушкетёрским крестом великий литератор, широким жестом щедро расточающего свой талант гения, без тени сожаления оставил на долгую память своему новому «шер ами», «гранд пер Никише»...

На этом, собственно, первая часть легенды и заканчивается. Вторая её часть начинается уже в веке двадцатом, когда во время первой мировой войны, в родную кубанскую станицу прибыл для поправки здоровья, после полученного на германском фронте ранения, подъесаул лейб-гвардии сводноказачьего полка Александр Дарташов. Деду Никишке он приходился правнуком.

Кавказская война уже давно закончилась, дед Никишка уже с полвека как мирно покоился на станичном погосте, а на месте той самой землянки теперь стоял утопающий в цветущем саду добротный двухэтажный *курень*. Сами же Дарташовы, будучи на протяжении нескольких поколений, начиная с деда Никишки, потомственными казачьими офицерами по законам Рос-

сийской империи уже давно числились дворянами. Причем один из них, как мы видим, даже был удостоен высочайшей чести служить в императорской лейб-гвардии.

И вот, как-то маясь от вынужденного безделья, Александр Дарташов, совершенно случайно, в старинном дедовском сундуке нашел стародавний блокнот в кожаном переплёте, на обложке которого был вытеснен уже изрядно затёртый крест явно мушкетёрского образца. А в том, что этот крест является именно мушкетёрским, Александр, любимой книгой которого, начиная ещё с кадетских времен, были как раз «Три мушкетёра» – нимало не сомневался.

Он был, как и всякий офицер императорской лейб-гвардии, великолепно образован, а также преотлично владел французским языком. Вплоть до того, что учась в Николаевском кавалерийском училище, он даже как-то, держа пари, перечёл «мушкетёров» в подлиннике, Дарташов начал с интересом листать пожелтевшие страницы блокнота. Что-то об этом блокноте, вкуче с откуда-то взявшимся на Кавказе Дюма и какой-то диковинной парсунной, якобы своего легендарного предка, он уже когда-то от кого-то слышал. Но, правда, очень давно и очень смутно. На уровне семейной легенды...

Как бы оно ни было, но постепенно Александр Дарташов начал вчитываться в пожелтевшие от времени блокнотные страницы, покрытые каллиграфическим, изобилующим многочисленными завитушками почерком, и вскоре он уже никак не мог от них оторваться. А, оторвавшись только после полного прочтения, подьесаул взял толстую тетрадь в твердом коленкоровом переплёте, на титульном листе которой четким почерком профессионального военного написал: «Три бузотёра», поставив на месте авторской фамилии, как оно и было в оригинале, «Александр Д».

Первоначально Дарташов намеревался только лишь перевести найденный роман на русский язык. Но по мере работы, подыскивая подходящие переводы для лихо закрученных предложений великого Дюма, Дарташов увлекался, невольно добавляя кое-что и от себя лично. Особенно это касалось всего связанного с казачьим боевым искусством, в котором он был большой дока. И потому его как родового казака и подьесаула лейб-гвардии, изложенная в «бузотёрах», пусть зачастую и лестная, но всё-таки неистребимо французская интерпретация такого сложного этнокультурного явления, как боевое искусство казачества, далеко не всегда и не во всём устраивала.

Кроме этого, казачий офицер, видимо, действуя «на злобу дня», также взял на себя смелость усилить некоторые моменты национально-политического характера. Особенно в области донельзя циничного и плохо скрываемого под завесой цивилизованности откровенного хищничества, которое с завидным постоянством проявляется западноевропейским миром в отношении по-славянски доброй и по-душевному открытой России. В общем, Дарташов описал именно тот западноевропейский подход к «русскому вопросу», претворение в жизнь которого, он только что вдоволь насмотрелся на германском фронте и, кстати, именно от последствий которого он сейчас и находился на излечении. И кто, скажите на милость, его, раненного на защите Отечества офицера, посмеет за это упрекнуть?

Причем, как за право иметь собственное отношение к западному миру, так и за внесение в роман некоторых корректив?

Тем более, что по большому-то счёту, о том, что «Les trois bouzateurs» написаны именно великим Дюма, прямых указаний нигде не было. А что касемо скромной авторской подписи «Alexander D.», то и он сам – подьесаул лейб-гвардии Дарташов – тоже Александр. Причем именно «Д.»... Так что в данном случае речь может идти отнюдь не о плагиате, а скорее о некоем соавторстве. Если не об авторстве вообще, учитывая те юридические тонкости, которые возникают в связи с якобы имевшим место фактом добровольного дарения блокнота прадеду, с последующим прямым унаследованием подаренного его потомками. Причем, как самого блокнота, так и его содержимого...

Окончив работу, а заодно и подлечившись, подьесаул вскоре снова оказался на германском фронте. Дальше последовал сокрушительный залп «Авроры» и прочие всем известные события, в которых он – Александр Дарташов – принял самое активное участие, сполна пройдя скорбный путь верного присяге офицера императорской лейб-гвардии. От Ледяного похода до пули в висок из трофейного парабеллума, пущенной на новороссийской набережной прямо у сходней отходящего в Константинополь парохода...

Причем в заплечном вещевом мешке упавшего в холодную морскую воду тела, как гласит легенда, и находилось всё имущество бывшего лейб-гвардейца. В том числе и блокнот с вытесненным на кожаной обложке мушкетёрским крестом.

Третья часть легенды начинается уже в наши постсоветские времена. Собственно говоря, это уже и не легенда в полном понимании этого слова, а скорее серые, напрочь лишённые романтизма будни.

Правда, не без светлой надежды на лучшее...

Оказалась, что та коленкоровая тетрадь, в которую подьесаул заносил перевод «бузотеров», не канула в лету вместе с французским оригиналом, а каким-то чудом сохранилась, всплыв на поверхность в начале смутных девяностых годов. Причем всплыла она почему-то не в писательско-гуманитарной среде (впрочем, была ли та среда – в те не слишком наполненные гуманизмом годы – тоже большой вопрос), а в узком кругу спортсменов-единоборцев, занимавшихся возрождением отечественного боевого искусства. Ну, а для них эта тетрадь с рукописью была прежде всего неким учебным пособием по казачьему боевому искусству, и не более того. То есть стала восприниматься примерно так же, как в конце восьмидесятых ими воспринимались в изобилии ходившие по секциям единоборств различные наставления с секретами шаолиньских монахов, японских ниндзя и прочих «самураев».

Там восточные «самураи» – здесь отечественный подьесаул императорской лейб-гвардии. Да ещё такой, который не в пример большинству других мастеров российских единоборств, канувших в лету вместе со своим индивидуальным мастерством, так и не передав его последующим поколениям, поступил как раз наоборот. То есть, следуя мировой единоборческой традиции, взял, да и оставил секреты национального боевого искусства в пользование своим потомкам, каковыми мы сейчас и являемся. Так что всё нормально и вполне укладывается в менталитет отечественного спортсмена-единоборца, а, следовательно, оставленное наследие вполне можно изучать.

Вот его и изучали. При этом на художественную часть этого своеобразного «пособия» большинство единоборцев особого внимания не обращало, и зачастую всё то, что напрямую боевых искусств не касалось, просто-напросто за ненужностью отбрасывало. Примерно так же, как раньше они поступали с витиеватыми восточными философствованиями в различных «шаолиньско-самурайских» наставлениях.

Так уж получилось, что к этой, весьма специфической среде спортсменов-единоборцев, специализирующихся на отечественных боевых искусствах, имеет честь принадлежать и автор вот этих самых строк. И вот, после десятка лет активной циркуляции слухов о некой легендарной «лейб-гвардейской» рукописи с «классным пособием», как-то раз и ему в руки попала достаточно объемистая пачка ксерокопий. Причем на первой странице стопки разломаченных листов четким почерком, несомненно принадлежащему профессиональному военному, стояла фамилия автора «Александр Д»...

Увы, состояние «пособия» было весьма плачевно, если не сказать большего. Донельзя заляпаные листы были затрепаны до степени полного рассыпания в руках, а многие из них, судя по всему, просто-напросто отсутствовали (как, например, листы, проливающие свет на появление романтического казачьего портрета в мушкетёрском плаще). Но несмотря на это, общая сюжетная интрига произведения вполне сохранилась, причем там, где повествование

обрывалось, пропущенное, при наличии хотя бы минимальной фантазии и желания, без особого труда можно было додумать.

Имея склонность к искусствам как к боевым, так и к несколько более возвышенным, автор этих строк, с непередаваемым удовольствием перечитал всю рукопись от корки до корки. Благо опыт работы с дореволюционными текстами у него присутствовал, и на качество восприятия все эти «яти» с «ерами» никак не сказались. Общее впечатление после прочтения рукописи было весьма восторженным, хотя отсутствие примерно половины текста всё же иногда удручало. При этом сам первоисточник, чудесным образом всплыв в начале девяностых годов, к середине двухтысячных куда-то бесследно испарился. И как поговаривали знающие люди, многозначительно намекая на некие могущественные темные силы, – на этот раз окончательно...

А раз оно так, то учитывая всю важность романа о «трёх бузотерах» для становления отечественного боевого искусства, равно как и его явную востребованность в деле воспитания патриотизма у нашей молодёжи, нами и было принято предерзкое решение, взять да и восстановить столь нужное обществу произведение. Причем восстановить, опираясь исключительно на собственные скромные литературные способности, что мы, как говаривали в старину «ничтоже сумнявшиися», и содеяли. То есть дописали, как умели, отсутствующие страницы, добавив уже от себя лично современное понимание геополитических процессов, а также некоторые достижения психологической науки. Тем более что в общий контекст романа они влились весьма даже органично и его никак не испортили.

Ну, а что у нас в результате из всей этой затеи получилось – решать уже не нам...

В заключение мы ещё раз выскажем ту не лишённую оттенка крамольности мысль, что то, что во всей этой казацье-мушкетерской легенде истинно, а что нет – мы лично судить не беремся. И тихо так, полупшепотом добавим – да и другим особо не советуем...

Но при этом стопроцентная правда заключается в том факте, что именно великому Дюма принадлежит крылатое выражение о том, что «для меня история – это тот гвоздь, на который я вешаю свою шляпу». А раз так, то что, скажите на милость, мешает нам, следуя заветам мэтра, поступить точно так же, но слегка с российским уклоном?

...Например, вместо мушкетёрской шляпы взять да и повесить на вбитый «по-французски» гвоздь российской истории нашу отечественную казацью папаху...

И скажите, положа руку на сердце, ну разве она этого недостойна?

## Пролог

События, которым посвящено наше повествование, произошли в наиболее достославные, хотя и наполненные истинным драматизмом времена, положившие начало самой блистательной эпохи нашего государства.

То есть тогда, когда безнадежно одряхлевший за время сытной византийской изнеженности двуглавый орел, успев в Грозную пору только лишь слегка попорхать на средних высотах русского небосклона, после своего, казалось, было уже окончательного падения в Смутное время, вдруг неожиданно стал уверенно подниматься ввысь. И никто в мире еще не знал, что на целых три столетия, от направления его полета во многом будут зависеть судьбы европейской и азиатской цивилизации. Что, пережив тяжкие невзгоды Смутного времени, не распавшись на удельные княжества и не дав поглотить себя сопредельным державам, русское государство вскоре предстанет перед изумленным миром величайшей Российской Империей.

Империей, величие и деяния которой сравнимы с тем следом в мировой истории, который оставили после себя Рим и Византия...

И вот когда, перед глазами изумленной Европы, на бескрайних Российских просторах вдруг возьмет, да и возродится величие третьего Рима, то ничего кроме резкого неприятия, сей примечательный факт у Старого света не вызовет. И НИКОГДА просвещенный европейский разум, не сможет смириться с существованием у себя под боком, варварской империи каких-то диких полускифов.

Потому и начнутся в мировой истории бесконечные противостояния Российского двуглавого орла. Сначала со шведским синеголубым львом, потом с хищными орлами тевтонов и австрийских Габсбургов. Дойдет даже до того, что игривый галльский петушок, как-то раз возомнив себя равным Российскому орлу, нагло прилетит поклевать русского жита на безбрежных полях великой России...

Но это все потом. А пока... пока, в первой половине семнадцатого века, Россия только собирается с силами для своих будущих великих свершений. И будучи уже не Московским княжеством, но еще и далеко не Российской Империей, она находится где-то в промежуточной, «околодержавной» фазе, вошедшей в историю под метким названием «Московия». Но даже она, эта полуимперская «Московия», движимая неуклонной логикой геополитического развития, уже, на своем южном направлении, начинает потихоньку подбираться к границам раскинувшейся там грандиозной империи турок. К блистательной империи, которую сельджуки смогли воздвигнуть на месте ушедшей в небытие православной Византии, срубив *ятаганами* двуглавых орлов царьградских императоров, и водрузив на их место знамя султана Османа с золотым полумесяцем.

Обосновавшись на руинах Византии и превратив православный Константинополь в исламский Стамбул, турки играючи покорили всю переднюю Азию, прилегающую часть Европы и даже часть северной Африки. После чего, обнаружив тот факт, что по большому счету, покорять вокруг им больше-то и нечего, турецкие султаны стали с нескрываемым интересом следить за своим северным соседом, прикидывая в уме, насколько суровый российский климат пригоден для жизни теплолюбивым поданным Оттоманской Империи...

В общем, все шло к тому, что противостояние двух мировых держав вскоре станет неизбежным, и оно обязательно выльется в долгую череду затяжных кровопролитных войн. И именно так оно, в конце концов, и вышло, а всего таких войн в истории русско-турецких отношений будет двенадцать. Ни много, ни мало, но двенадцать раз Российский двуглавый орел будет насмерть биться с Блистательной Портой, пока своей, израненной об острые края полу-месяца грудью, не продвинет границы русской цивилизации от дремучих лесов Московии до заснеженных гор Кавказа. А, продвигая её чеканной поступью русских полков, заодно уж не

оросит своей и чужой кровью, раскинувшиеся между северными лесами и Кавказскими горами обширные южные степи.

И вот на стыке двух мировых держав, в тех самых южных степях, которые еще только предстоит пройти России в своем победном продвижении на юг, по среднему и нижнему течению могучей реки Дон, жил красивый вольный народ, именовавший себя казаками.

Народ ещё издревле бывший по своему вероисповеданию ПРАВОСЛАВНЫМ, и это всё притом, что волею судьбы, таковым он являлся среди откровенно иноверческого, и далеко не отличающегося особой религиозной толерантностью азиатского окружения. Да ещё в краю, который и называли-то в ту лихую эпоху весьма красноречивым наименованием «*Дикое Поле*». А поскольку «Поле» действительно было «Диким», то и вся жизнь казачьего народа, во всех своих проявлениях, была подчинена исключительно требованиям военного обустройства, и даже страну своего обитания казаки иначе как «войском» не называли.

Потому, кстати, и прослыли они в истории как народ великих воителей.

И вот именно в первой половине семнадцатого столетия, когда с юга, непосредственно к устью Дона уже давно подошла и укрепилась Турция, а с севера только начинает подбираться чуть запаздывающая Россия, неумолимый ход истории подводит донских казаков к необходимости окончательного выбора между двумя соседствующими исполинами.

И каков он будет в конечном итоге – известно каждому...

Но пока, на момент описываемых событий, Московский царь еще уважительно общается с казаками через *Посольский приказ*, как с настоящей иноземной державой, а те с достоинством отвечают ему: «Здравствуй Царь-государь в Москве... и мы казаки на Тихом Дону...». Но, правда, при этом казаки не гнушаются исправно посылать в эту самую Москву станицу за хлебом и пороховым припасом, выдаваемым русским государством вольным донским казакам в качестве жалования за исполнение царевой службы. Весьма, кстати, в те времена необременительной. Такой, что зачастую и не сразу поймешь, по своей или по царевой воле казак воюет?

Воюет себе казак, как оно казаку и положено, добывает себе *зипун*, потом, согласно закону, его *дуванит*, не вдаваясь в политические тонкости, и все тут. А ему за это (почитай за то, чтобы московитов зря не трогал) еще и хлебом с порохом приплачивают. Да за такое уважительное отношение, в случае чего, не жалко и Сибирское царство завоевать, а потом русскому царю им поклониться, «пушай уж он ея владеет»...

Ничего не скажешь, умны были русские цари... ох, и умны, что завели такой порядок, потому как турецкие султаны до подобного, так и не додумались. Видимо это был как раз тот случай, когда русская смекалка оказалась сильнее восточной хитрости. Вот и не посылали казаки в Стамбул своих станиц за ежегодным припасом, а раз так, то и вообще с турками они предпочитали разговаривать только на языке оружия. А ведь могло бы быть и иначе...

И кто знает, где бы тогда прошла современная граница России. Вероятно, так и осталась бы где-нибудь на границе дремучих русских лесов. Как не крути, а в области того, что через три столетия назовут геополитикой, Кремль оказался куда дальновидней Серая.

Хотя в тридцатые годы семнадцатого столетия, сами казаки всех этих политических и дипломатических хитросплетений, конечно же, не ведали. Зато они точно знали совсем другое. Например, то, что левый берег батюшки Дона именовался «ногайским», а правый «крымским», потому как один из них был улусом различных кочевых татарских орд, а другой улусом самого Крымского хана. Правителя, по тем меркам, надо сказать, весьма даже неслабого...

Ну, а уж тот непреложный факт, что все эти ханы и мурзы, пусть порой и номинально, но все же были вассалами султана Оттоманской Империи, казаков нимало не волновал. Впрочем, также как и то обстоятельство, что исходя из логически вытекающих из данного факта юридических последствий, получалась вроде бы так, что и вся окружающая Дон территория, с точки зрения средневековой юриспруденции, считалась как бы... турецкой.

И это при всём притом, что в ту хищническую эпоху, когда приглянувшиеся территории захватывались просто так – по праву сильнейшего, наличие столь мощного юридического обоснования, предоставляло Блистательной Порте все необходимые аргументы, дабы окончательно привести Донщину в своё «правовое поле». И всё шло к тому, что создание на Тихом Дону «Донского *Пашалька*» Османской империи, теперь становилось всего лишь вопросом времени. Причем, времени не такого уж и далёкого...

Тем более что очень даже весомое начало будущему Пашальку, в виде существования на Дону настоящего форпоста турецкой агрессии, османами было уже положено. Несокрушимой цитаделью, под османским красным *санджаком* с золотым полумесяцем, стоял ошетилившийся пушками и Ятаганами древний Азов, бывший в начале семнадцатого века самой настоящей турецкой крепостью и носивший, в соответствии со своим восточным статусом, имя «Азак-Кала». И поскольку поставленный в незапамятные времена в самом, что ни на есть гирле Дона, Азов вследствие своего стратегического месторасположения, контролировал все сношения казаков с внешним миром, то был он донцам, воистину, как кость, причем именно в «гирле». То есть в горле.

Потому и желали казаки только одного. Поменять в Азове, опостылевшую им тюркскую приставку «*кала*» на русскую «град». И разразившуюся вскоре войну, когда горстка казаков, отчаянно бросит вызов величайшей в мире Османской Империи, можно будет с полным правом считать «казацье-турецкой». Причём с приставкой

– «первая»...

А тот беспримерный героизм, что проявят в ней казаки – подвигом, достойным витязей Куликова поля и Чудского озера.

Но пока, казаки к войне только подспудно готовились...

...Итак...

## **Часть 1. «И положиша тады ён свою козацку саблю, на алтарь служения русскому государю»**

### **Началось... или почему это "Поле" называется "Диким"**

Погруженный в свои невеселые думы о прощании с отцом, Ермолайка полдня ехал по Ногайскому шляху, пока на въехал в густую, обступающую дорогу леваду, и здесь, на небольшой, окруженной зарослями орешника полянке, он вдруг почувал неладное...

Не увидел, не услышал, а именно ПОЧУЯЛ, как учил его когда-то чують опасность дед. Воспитывая внука, мудрый дед, где молитвой, где заговором, а где и специальными, не шибко гуманными упражнениями, развивал в молодом еще тогда Ермолайке «нутряное чуйство». Терпеливо делая это до тех пор, пока, для начала, не научил его передвигаться ночью с завязанными глазами. Сперва ощупью и только ползком, потом стоя и осторожным шагом, а потом и вовсе быстрым бегом... В результате всего этого, после снятия повязки, дед сумел развить у внука способность, каким-то неведомым образом уклонятся, от летевших в него из кромешной темноты стрел с тупыми наконечниками...

И несмотря на то, что наконечники были тупыми, они все равно преобильно били по неокрепшему еще тогда, отроческому телу Ермолайки, оставляя на нем лиловые синяки и кровавые ссадины. Потом, правда, синяков и ссадин, со временем, становилось все меньше и меньше, а постепенно они и вовсе исчезли. Тогда дед стал надевать на внука небольшую по размеру, но чрезвычайно тяжелую кольчужку, а наконечники у стрел после этого стали самые, что ни наесть, боевые...

Только Ермолайка поначалу об этом даже не догадывался, чуюя стрелу еще до того, как она окажется в полете, и привычно отклоняясь от неё, даже не замедляя при этом ночного бега. Так он и бегал. То по степи, то по лесу каждую ночь, ощущая, но, не видя, незримо присутствующего где-то рядом в темноте деда (и как он старый – то, только и успевал?), пока как-то раз, вместо привычного гудения тетивы лука и мягкого шороха летящей стрелы, не услышал гром выстрела и посвист пролетевший мимо него пули из дедовской пистолы...

И ничего... пролетела себе и ушла куда-то в ночную степь... Поскольку грохот выстрела и вжиканье пули над головой, Ермолайка услышал уже только после того, как привычно уклонился от выстрела, только на этот раз, как оказалось, уже огнестрельного. Ну, а о том, что пороховой заряд того пистолетного выстрела, хитрым дедом был сознательно ослаблен, то про это Ермолайке, ведать было совсем даже без надобности...

Уже много раз, дедовская наука спасала Ермолайке жизнь. Не подвело «нутряное чуйство» его и на этот раз, безошибочно указав на опасность, исходящую от двух сросшихся, прямо над дорогой деревьев, и от распложенных за ними густых зарослей кустарника...

Не подавая вида и не поднимая полуприкрытых векам глаз, Ермолайка незаметно освободил от стремян ноги и полностью расслабил тело, весь без остатка, отдаваясь одному лишь «нутряному чуйству». Ничего вокруг визуально не видя, с сознанием, специально наполненным пустотой, Ермолайка, повинувшись внезапной, пришедшей из глубин подсознания команде, как был, так и откинулся назад на круп коня, уходя от падающей на него сверху опасности. И вовремя...

...Соскальзывая с лошадиного крупа спиной вперед на землю, Ермолайка успел отметить сброшенную с дерева, и накрывшую с головой кобылу, крупноячеистую рыбацкую сеть. Сгруппировавшись в полете, и проведя при приземлении, с целью погашения энергии падения, страховку одновременными ударами обеих рук по уплотненному грунту шляха, и еще толком

не видя противника но чуя его повсеместно, Ермолайка боком перекувыркнулся в сторону и резким рывком вскочил на ноги.

И в то место где он только что лежал, взметнув облачко пыли, ударила, и осталась торчать, покачивая растрепанным оперением, черная татарская стрела. Гыркнув своим родовым, идущим еще от скифов боевым кличем, Ермолайка выхватил саблю, и, подхватив левой рукой, свисающую за темляк, с запястья левой руки нагайку, прыгнул в заросли орешника, предварительно выставив вперед ногу.

Прыгая, он твердо знал, что его боевой «гырк», искусству исторжения которого его обучил всё тот же дед, наверняка предоставит ему, столь необходимое сейчас психологическое преимущество, как минимум, вызвав в рядах врага, хоть секундное, но замешательство. Что для человека, оказавшегося подвергнутому внезапному нападению, было весьма даже немаловажно, поскольку, начиная с этого момента, элемент внезапности противника напрочь аннулировался.

Ужасающе жуткий, несший в себе атавистические отголоски еще пещерных времен и какие-то по-настоящему звериные рыки звук, потряс воздух, и... смиренно стоящая до того под сетью лошадь, с испуганным ржанием, отчаянно суча передними копытами, свечой взвился вверх. Потом она стремительно прыгнула вперед, выдернув за собой из кустов, двоих, судорожно вцепившихся в сеть, незадачливых ловцов одиноких путников...

«Татарва» – молнией пронеслось в Ермолайкиной голове, в тот момент, когда его выставленная вперед нога, с глухим уханьем вошла в живот показавшегося в кустах врага, тем самым, отбросив его на пару сажений назад. Внезапно очутившись в зарослях лещины среди скрывающихся противников, Ермолайка одновременно раскинул руки, рубанув по бокам от себя сразу саблей и нагайкой.

Сабельный клинок, срезая листву и мелкие ветки, в конце своего движения, со всего размаху вошел во что-то твердое... Но при этом явно не деревянное, а скорее костяное, поскольку раздавшийся при этом крик, живо напомнил Ермолайке предсмертный хрип, обычно издаваемый человеком с разрубленной головой.

Тогда Ермолайка быстро повернулся влево, туда, куда он перед этим вслепую жиганул нагайкой, и там сквозь ветки кустов, он разглядел держащегося за лицо врага. «Точно, татарин»... успел подумать Ермолайка, краем глаза отметив расшитую витиеватым узором тубетейку, автоматически выщелкивая перед собой нагаечную плеть. И совершенно правильно сделал, поскольку за свое, обожженное нагаечным ударом лицо, идентифицированный Ермолайкой как татарин противник, держался только своей левой рукой. В то время как его правая рука, из которой исходил, тускло поблескивающий сабельный клинок, совершала стремительное движение сверху вниз, по направлению к Ермолайкиной голове...

Но вовремя выхлестнутая нагаечная плеть, к счастью для молодого Дартан-Калтыка, успела-таки встретить опасность, и преобладающим ударом шлепка по внутренней стороне запястья, сбила с линии удара татарскую руку, тем самым, слегка отклонив траекторию сабельной атаки. Это дало Ермолайке спасительную возможность, легким движением волны тела увернуться от разящего клинка. После чего Ермолайка, оптимально используя движение разворота тела, окончательно вывел из строя противника, по-казацки выбрыкнув ногу на удар «соколик». Согнутая в колене нога, выставив вверх подошву, на резком развороте корпуса нанесла ребром ступни, удар прямо в солнечное сплетение татарина, заставив его скрючиться, и, наклонив голову, неосмотрительно подставить свой по-азиатски бритый затылок...

Более удобной мишени для удара по шее сверху вниз, металлическим концом рукояти нагайки, и придумать было трудно...

Краем уха, отметив хруст, раздробленных кованной шальгой, шейных позвонков, Ермолайка резко развернулся вправо и оказался лицом к лицу уже с другим, наступающим на него противником. И тут Ермолайка понял, что он был не прав. Это была не привычная для Дикого

поля «татарва», а скорее лихие ватажники, или говоря по-современному обычные бандиты, причем весьма даже интернационального состава, поскольку теперешний Ермолайкин супротивником, татаринном явно не являлся.

Перед казаком сейчас, во всей своей красе, стоял заросший бородой до самых глаз, явно спустившийся с кавказских гор *абрек*, с рванной каракулевой шапкой на голове и прямым обоюдоострым кинжалом типа *кама* в волосатых, засученных по локоть руках...

«Не иначе как воровская ватага»... – молнией пронеслось в Ермолайкиной голове, но отмеченный позади себя шум, не иначе как принадлежащий заходящему с тыла очередному врагу, заставил его отвернуться от кавказца, и сделав два прыжка назад выскочить из кустов. То же самое сделали и его противники, выходя из зарослей, так что теперь они оба находились у Ермолайки на открытом пространстве и... на одной линии. Последнее обстоятельство, в условиях боя «на два фронта» было просто жизненно необходимым, поскольку теперь Ермолайка имел возможность, хоть и вполглаза, но сразу контролировать обоих противников.

Зашедший на него сзади, а теперь, вследствие своевременного разворота Ермолайки оказавшийся от него справа человек, действительно был врагом. И ни каким-нибудь там, нейтральным «неприятелем», а самым, что ни на есть «лютым ворогом». Поскольку первое, что профессионально отметил Ермолайка, то это самый натуральный, выставленный в его сторону ятаган, причем типично турецкого вида. А поскольку за ним ясно просматривалась и красная *феска* с кисточкой на макушке, то вполне даже можно было предположить, что этот, нападающий на Ермолайку «ворог», есть никто иной, как сбежавший почему-либо из Азова турок, решивший в Диком Поле попытать счастья в лихом разбойничьем промысле...

Что и говорить, противники весьма даже серьезные...

В бою у Ермолайки, как и у любого нормального казака, действия всегда опережали мысли, поэтому параллельно с размышлениями о турках и ятаганах, обе его руки уже успели провести две молниеносные восьмерки. Причем таким образом, чтобы клинок сабли и плеть нагайки взвиваясь одновременно, один над другим, общим слитным движением разом обрушились на обоих, стоящих справа и слева противников. В результате, нападавший слева кавказец, попытавшийся было, но так и не успевший подставить своим кинжалом, прилетевшему по непонятной круговой траектории сабельному клинку защитный блок, получил скользкий режущий удар по лицу. Выронив кинжал, он зажал рану обоими руками и покачулся...

А пошедшая в это же время по правую сторону нагайка, захлестнув плетью ятаган, с дребезжащим звоном, вырвала его из турецкой руки. Дальше последовал резкий разворот корпусом в сторону обезоруженного турка, сопровождающийся весьма незамысловатым, нанесенным со всего размаху сабельным ударом, угодившим тому точно посередине фески...

Поскольку выдерживать застрявший где-то в районе турецкой груди клинок, у Ермолайки времени не было, то, отпустив сабельную рукоятку, он высоким прыжком развернулся назад, в сторону так и стоящего абрека, при этом наотмашь нанеся ему хлесткий и уже достаточно прицельный удар нагайкой. Кожаный *шлепок* плети, с защитой внутри себя пульей, со свистом врезался чуть ниже каракуля, с хрустом раздробив височную кость кавказца

Приземлившись чуть раньше падения тела кавказца, Ермолайка на мгновение замер в склоненном положении, чутко вслушиваясь, а точнее «вчуйствовываясь» в окружающую его обстановку. При этом он своей правой, свободной от оружия рукой, совершенно машинально подобрал, случайно отказавшийся под его ладонью кинжал. Непосредственно перед Ермолайкой, противников, за исключением только что поверженных, уже не было, но при этом его «нутряное чувство», буйно клокотало и било в затылок, отчаянно сигнализируя о смертельной опасности. Причем направленной именно со стороны ничем не защищенной спины, где в районе левой лопатки, Ермолайка, вдруг, явственно ощутил пронзительный холодок...

Не испытывая больше судьбу, Ермолайка как был, так и рухнул ничком на землю, тут же перекатившись в сторону...

...Оказалось, что удар ногой, нанесенный им в прыжке первому из спрятавшихся в кустах противников, только на мгновение отключил тому сознание, отшвырнув его наземь. И вот сейчас преодолевая острую боль в животе, он, достав из-за широкого кушака два длинноствольных пистолета, спускал курок одного из них, целясь прямо в склоненную спину Ермолайки...

Перевернувшись на спину, и ощутив кожей лица горячее дыхание пролетевшей над ним пули, Ермолайка не целясь, бросил в смутно виднеющийся силуэт противника, только что подобранный им кинжал. Плохо сбалансированный и мало приспособленный для метания кинжал, по сути, представляющий собой средних размеров меч, ударил по неприятелю плашмя, только лишь на мгновение, ошеломив его своей увесистостью. Но даже такой, малопродуктивный удар, тем не менее, сумел замедлить процесс прицеливания из второго пистолета, а также позволил Ермолайке выхватить из голенища ичиги засапожник, и, лежа на спине, проделать короткий взмах рукой.

Хорошо сбалансированный клинок засапожного казачьего ножа, блеснув на солнце отполированным лезвием, по рукоять вошел в шею стрелка, заставив того, с булькающим визгом повалиться на землю, в тщетной попытке, зажать скрюченными пальцами, фонтаном хлещущую из рассеченной сонной артерии кровь...

Подобрав с земли, длинноствольный, так и не успевший, благодаря вонзенной во вражескую шею зализке, разрядится в его спину пистолет, Ермолайка, особо не прицеливаясь, выпалил в крону дерева, с какого на него была сброшена сеть. Как и ожидалось, ответной реакцией на выстрел, оказалось только шевеление листвы, произвольное произведенное спрятавшимся там человеком, когда мимо него прошуршала не прицельно выпущенная пуля. Но поскольку, сам себя он, тем самым, уже обнаружил, то следующий выстрел, произведенный уже из Ермолайкиного, выхваченного им из-за кушака пистолета, был стопроцентно прицельным.

Ломая в полете ветки, бывший набрасыватель сетей рухнул у корней дерева, обозначив этим полную и безоговорочную победу казачьего оружия над интернационально-разбойничным, одержанную донским казаком Ермолайкой в этой части поля битвы.

Но теперь внимание казака полностью переключилось в ту сторону, куда недавно с ржанием убежала его кобыла, волоча за собой запутавшихся в сети двоих супротивников. И вскоре, именно оттуда, осторожно осматриваясь по сторонам, показался один из них, полностью утвердив Ермолайку в полиэтничности состава напавшей на него шайки.

Надвинутая на глаза мышастого цвета шапка, донельзя рванный Зипун, а также онучи с лаптями, вкупе с лопатообразной, но давно нечесаной бородой, и заткнутым за веревочный пояс топором, всё выдавало в приближающимся разбойнике типичного представителя северного славянского соседа. Не иначе как какой, вконец замордованный боярами в Московии холоп, вознамерился было податься «в казаки», но, будучи в казачью общину, по какой-либо причине не принятым, пошел себе гулять с кистенём на дорогу. Причем именно с кистенём... отметил спрятавшийся за кустами Ермолайка, аккуратно откручивая шалыгу, и доставая из рукояти нагайки, спрятанный там небольшой нож зализку.

Приближаясь, москвит размахивал кистенем, старательно раскручивая самый простенький колоброд, представляющий собой, всего-навсего прямую восьмерку. Причем делал это настолько непрофессионально, допуская не только ломанные движения, но даже касания самого себя крутящейся цепью кистеня, что Ермолайка невольно усмехнулся. Уж лучше ты бы, топор, что ли достал... дрова-то, чай, рубить-то уж точно умеешь...

...И дождавшись, когда отчаянно размахивающий кистенем разбойник поравняется с кустами, Ермолайка, с нагайкой в левой в руке, и со скрытой в правой ладони зализкой, спокойно вышел на просвет и стал прямо перед ним. Прогнозируемая реакция столь психологически выверенного хода, не заставила себя ждать. Узрев внезапно оказавшуюся перед ним опасность, москвит было попытался ускорить раскручивающийся кистень, в результате чего... ошибок в его действиях стало совершаться гораздо больше. И теперь Ермолайка нимало не

сомневался, что ВКРУТИТЬСЯ, в до такой степени небрежный колоброд, ему особого труда не составит.

Выпустив из ладони, и оставив висеть на темляке рукоять нагайки, и аккуратно заткнув зализку сзади за Кушак, Ермолайка, сначала руками, а потом и волнообразными движениями тела, стал старательно повторять ход вращения кистеня. И на втором обороте восьмерки он уже был полностью готов. Теперь все его тело, казалось, слилось с направленным против него же оружием, чутко реагируя на все его движения.

Сейчас бы этому разбойничку, взять бы, да и поменять траекторию вращения цепи, но, по-видимому, ничего другого он просто не знал. Потому на третьем цикле движения, Ермолайка был уже полностью «вписан» в восьмерку, что дало ему возможность, оставив цепь с гирькой на конце, летать где-то в стороне от себя, приблизиться вплотную к натужно раскручивающему кистень москвиту. При этом рука Ермолайки, как бы продолжая раскручивать тот же самый, что и цепь колоброд, сначала накрыла запястье разбойника, потом поднырнула под него обвивая руку, и резко дернулась назад...

Вырванный из разбойничьей руки кистень, жалобно звякая цепью, отлетел в сторону, шагов за восемь...

Продолжая правой рукой круговое движение, Ермолайка, основанием раскрытой ладони, плотно припечатал противника снизу-вверх в его бульбообразный нос. Разбойник закинул голову назад и, захрипев от острой боли, схватился за расквашенную переносицу.

После чего Ермолайка, острым носком ичиги, коротко ударил по выступающей над лаптем противника боковой косточке, хорошо, по личному опыту зная (спасибо деду), насколько этот вроде бы простой удар, порой бывает болезнен. Увидев, что удар возымел нужное действие, и бородатый разбойник, схватившись за ушибленную косточку прыгает на одной конечности, Ермолайка резко присел на своей левой ноге, и активно помогая себе руками, крутнулся вокруг своей оси, выставив назад правую. Получившейся «косой», он подсек ногу неудачливого кистенщика, угодив тому пяткой ичиги в икроножное сухожилие. Что тоже было делом весьма даже болезненным...

Взревев, от уже тройной боли рёвом раненного медведя, разбойник из Московии, разбрызгивая расквашенным носом кровь, рухнул спиной на траву. И в тот же миг над ним склонился Ермолайка, многообещающе приставив к открывшемуся горлу москвиты, лезвие выхваченной из-за кушака зализки.

Казалось еще немного и... и одним душегубом на Дону, да и на Руси станет меньше...

Но рука казака, до этого преспокойно уложившая с полдюжины различных ворогов, на этот раз дрогнула...

– Живи уж, коли ты русский... да уперед, мотри мне, более не попадайся... – Сказал Ермолайка и убрал острое как бритва лезвие, с заросшего жестким волосом горла, по которому, загнанным зверьком, судорожно метался беззащитный кадык...

Пощадив собрата по славянству, Ермолайка вложил зализку обратно в нагайку, и спокойно пошел подбирать оружие, а также осматривать доставшиеся ему по праву победителя трофеи. Вскоре со стороны дороги показалась его лошадь, за *арчик* которой тянулась спутанная сеть. И поскольку второго «сетьяносца» нигде видно не было (не иначе как дал деру), то Ермолайка вскочив в седло, продолжил свой путь.

Навстречу славе и приключениям...

## "Граница на замке!" или на кордоне русского государства

– Эй ты, на кобыле, стоять иде стоишь, а то аки пальну... услышал грозный окрик Ермолайка, и из-за рогатки, перегораживающей, вьющуюся среди дремучего леса дорогу, выглянул человек с испытанным лицом, и в оборванном красном кафтане, направляя прямо в лицо казаку дуло пищали.

«Нечищено»... машинально отметил про себя Дарташов, рассмотрев бурые пятна, в пляшущем прямо перед лицом ружейном стволе. Кроме того, пищаль, столь грозно выцеливающая Ермолайку, по своей конструкции была фитильной, но при этом ее, долженствующий воспламенять заряд фитиль, почему-то не дымился... Так что угрозу в свой адрес, прирожденный и прекрасно разбирающийся в оружии казак, при всем желании, серьезно воспринять никак не мог. Но, тем не менее, демонстрируя свои мирные намерения, Ермолайка остановился и смиренно сложил на арчаке седла руки.

– Слязай, щас с тобой начальство баить зачнёт... – грозно добавил бдительный страж рогатки, выходя из-за нее полностью. На ногах стража были надеты лыковые лапти, что в сочетании с не стреляющим ружьем, рваным кафтаном и перекошенным от многодневного пьянства лицом, вызвало у Дарташова легкую улыбку.

– Ах, так ты еще и лыбишься... да я тебе... – задохнулся от ярости страж, но что именно он смог бы сделать Ермолайке в отместку за его улыбку, так и осталось в тайне, поскольку из ближайших кустов, в этот момент показалось то самое «начальство».

Начальство имело не менее драный кафтан, но в отличие от предыдущего стража было обуто в стоптанные войлочные *уляди*. Выйдя из-за кустов и важно направляясь к рогатке, начальство подтянуло портки и заправило в них рубаху. Но при этом, правда, забыло перевесить на левый бок саблю, очевидно повешенную, незадолго перед тем на шею, для пушного удобства хождения по нужде.

– Дак... понятно-о-о... лазутчика турецкого спымали, – глубокомысленно промолвило начальство, распространив вокруг запах застарелого перегара. – Слязай наземь, и айда к *тиуну* в съезжую избу, да мотри мне, не дури, а не то – с этими словами начальник грозно взялся двумя руками, за так и болтавшуюся на шее саблю.

Вытерпеть подобное проявление воинственности, уже было превыше всяких сил, и Ермолайка, откинувшись назад в седле, откровенно расхохотался. Так, как может хохотать только молодой и сильный, ничего не опасющийся в своей жизни, и абсолютно уверенный в себе человек.

И без того красное лицо начальника кордонной стражи (а именно таковым он и являлся) нехорошо побагровело...

Безуспешно пытаясь, вследствие отсутствия соответствующего размаха для вынимания, выдернуть из болтающихся на шее ножен саблю, разъяренный начальник, воинственно взвизгнув: «держи вора», широко растопырив безоружные руки, отважно бросился на Дарташова.

Продолжая от души хохотать, Ермолайка, нагайкой отведя в сторону направленное на него дуло не стреляющей пищали (так, на всякий случай), спокойно высвободил из стремени правую ногу, и подогнув носок ичиги кверху, встретил подбежавшего начальника стражи несильным ударом ступни, прямо в покрытый похмельной испариной лоб.

От неожиданного удара «начальство», раскинув ноги грузно осело прямо перед копытами Ермолайкиной кобылы, и выпучив глаза, беззвучно, как вытасенная на берег рыбина, открывало и тут же закрывало рот. Воцарившуюся на кордоне Менговского острога Воронежского воеводства немую сцену, прерывало только лихорадочное шелканьем пищальной *жагры* с незажженным фитилем, безуспешно взводимой и спускаемой в сторону Дарташова.

– Ну, мужики, служивые... – отсмеявшись, промолвил Ермолайка, сам того не осознавая, что этими двумя словами, он абсолютно четко обозначил социальное и воинское сословие стражников. – Да какой же я есмь лазутчик турецкий? Свой я... – и, перекинув через седло ногу, добавил – хошь зараз докажу?

– Ну... – угрюмо буркнул так и продолжающий сидеть на земле начальник кордонной стражи, смекнувший, что подозреваемый им в шпионаже сам, скорее всего к тиуну не пойдет, а вступать с ним в схватку, дабы доставить его туда насильно бравому защитнику рубежей и законности уже как-то расхотелось... – Ну, докажи...

– А вот зараз ответствуй мне, рази басурманские лазутчики, *хлебное вино* пьют?

– Да не в жисть... с глубоким знанием дела согласился начальник кордонной стражи.

– А вот мотри сюды, – и с этими словами Ермолайка, достав из *кульбаков* припасенный, на всякий случай, штоф с хлебным вином, вытащил зубами пробку, и, поднеся горлышко к губам, сделал добрый глоток. – Ух, хороша... – ничуть не кривя сердцем, произнес Дарташов, вытирая рукавом архалука мокрые губы.

Увидав штоф и учуяв привычный запах спиртного, причем ни какой-нибудь там сивухи, а самого натурального хлебного вина, ставшего на Руси после внедрения польской водки, чем-то наподобие дефицита, начальник кордонной стражи живо вскочил на ноги. После чего, не без опаски, приблизившись к Ермолайке, хитро прищурил плутоватые глазки, и неумело скрывая в голосе вожделиние, произнес:

– А можа у табе там и не вино вовсе, а скажем... кумыс какой, аль татарская буза? – высказал предположение алчущий похмелится начальник, тем самым тонко намекая Ермолайке на необходимость проведения соответствующей дегустации.

– Да ну... какой там кумыс. Да на-ка, спробуй сам... – протянул штоф Ермолайка.

Молниеносно схватив, как хватает кошка пробегающую мимо мышшь, протянутый ему для опознания штоф, начальник кордонной стражи, зажмурился, припал к нему своими липкими губами. У стоящего рядом, опершегося на свою пищаль стволом вниз, незадачливого стрелка, вперившего немигающий, как у змеи взгляд в ритмично подергивающийся кадык начальства, из уголка рта потекла слюнка. Насытившись, начальник опустил штоф, громко выдохнул, и утерев губы полой дранного кафтана степенно закусил заботливо припасенной для таких дел луковицей. После чего довольно рыгнул, и заметно потеплевшим взглядом посмотрел на Ермолайку.

– Кажись не кумыс, – слегка нетвердым голосом вынес он дегустационное резюме, и, не глядя, протянул ополовиненный штоф своему напарнику.

– Ну, а подорожная грамота у табе имеется? – Продолжило выполнять свои служебные обязанности, уже заметно покачивающиеся начальство.

– А как же – ответил Ермолайка, доставая из-за пазухи письмо Дартан-Калтыка к своему односуму Николке Тревиню.

– Ага, посмотрим... – многозначительно промолвил начальник кордонной стражи, держа перед собой написанное войсковым псарем письмо верх ногами, и усердно шуря на него, в тщетной попытке сфокусировать расплывающийся взгляд, свои слезящиеся глаза. Наконец-то узрев, поставленную Дартан-Калтыком для солидности войсковую печать, он с чувством честно выполненного долга возвернул бумагу обратно, солидно проговорив:

– Ну, ни чаво... бумага в порядке. Так бы сразу и обсказал... Ехай... – и обернувшись назад, резво бросился отбирать штоф у чересчур надолго припавшего к нему напарника.

Расправившись со штофом и лихо разбив его прикладом пищали, тем самым, как они полагали, уничтожив следы пьянства, оба стражника, наконец, взялись за рогатку и отволокли ее в сторону, отворив Ермолайки кордон в Менговской острог.

Проехав десяток сажень уже не по Дикому полю, а по земле Московии, слева от дороги Даргашов усмотрел в кустах тело и третьего стражника кордона. Тот лежал на спине и, обратив вверх, выпирающий из расстегнутого кафтана, немалого размера живот, безмятежно спал...

## В менговском остроге

После знакомства с тремя, столь доблестно охранявших кордон Русского государства, brave вояками, на месте острога Ермолайка ожидал увидеть ну, разве что, какие-нибудь халабуды или *чиганаки*. Увиденное же, приятно его удивило.

Выехав на отвоеванную трудолюбивым топором дровосека у леса, покрытую пнями территорию, Ермолайка остановился перед солидного размера земляным валом, покрытого сверху добротным частоколом из заточенных сверху брёвен. На правом краю частокола возвышалась небольшая бревенчатая башенка, над которой гордо развевался стяг с двуглавым орлом, и выглядывало в сторону Дикого Поля дуло небольшой пушчонки. Как не крути, а с военной точки зрения, острог был вполне даже сносным фортификационным сооружением, в котором запросто можно было обороняться, от налетающих из глубин Дикого Поля лихих наскоков кочевых орд.

Как англичане, по мере колонизации Америки, ставили в диких прериях бревенчатые форты против индейцев, так и Московия, защищая себя от набегов, возводила в своих дремучих лесах деревянные остроги. Да еще, нимало не заботясь об экологии, создавала между ними сплошные завалы и засеки, препятствующие татарским отрядам продвижение по лесным сакмам. Отчего вся гигантская линия оборонительных сооружений, протянувшаяся по всей южной окраине Русского государства, и называлась «Засечной чертой».

Проехав вдоль заполненного до краев зловонной жидкостью рва, из которого раздавалось жизнерадостное кваканье лягушек, Ермолайка приблизился к перекинутому через ров мостку, упирающегося в открытые настежь бревенчатые ворота. Охранявшие ворота стражники, числом четверо, аккуратно прислонив к стене бердыши и пищали, сидели на корточках и увлеченно играли в зернь. Мимоходом окинув проезжающего в воротах казака откровенно скучающим взглядом, они так и не сочли нужным прервать свое увлекательное занятие, видимо рассудив, что надлежащий контроль и проверку, всякий въезжающий в острог путник, уже прошел на кордоне...

Изнутри Менговской острог представлял собой типичный, входящий в Засечную черту, острог Русского государства,

Десятка два-полтора, рассыпанных там и сям изб с маленькими огородиками, мрачно-важного вида строение барачного типа для крепостного гарнизона и кривая улочка между ними. В центре, небольшая бревенчатая церковь, неподалече трактир с постоянным двором, конюшня и обязательная *съезжая изба* на въезде.

Рядом со съезжей избой, как живое олицетворение государственной власти, важно стоял тиун. Это был Антип Перфильевич Михрюткин. Сейчас он, красный и распаренный, (видно только что, вышедши с бани), почесывал волосатую грудь под накинутым на голое тело кафтаном, а на голове его, как печная труба, возвышалась высотная горлатная шапка. Сшитая из соболиных горлышек, она была в пору какому-нибудь средней руки боярину, и вообще-то говоря Михрюткину, по его, не шибко высокому тиунскому чину, никак не соответствовала. Но поскольку имел наш Антип Перфильевич пристрастие к высоким головным уборам, а здесь, в этой глухомани, как не крути, а выше его власти не было, то и позволял он себе эдакую вольность. Тем более что лес – вот он, сразу же за стеной начинается, а уж соболей-то там, каковых главному начальнику сих мест постоянно в качестве *посулов* подносили, в русскому-то бору и вовсе не меряно...

Телосложение Антип имел весьма дородное, и своему начальственному статусу как нельзя лучше соответствующее. Начиная от огромного, выпяченного вперед живота, по которому стелилась заботливо ухоженная борода, до столбообразных коротковатых ног. Да и личиной он, от чиновного люда средней руки, никак не отличался. Обязательная плешь под шапкой,

разъевшиеся щеки с круглым носом посередине, да плутовато бегающие глазки, неопределенно водянистого цвета, под густыми кустистыми бровями.

И вот, в тот момент, когда в воротах острога показался Ермолайка, стоящее возле съезжей избы, и вальяжно почесывающее пузо, этакое олицетворение государственной власти, изволило вести неспешную беседу с господином, одетым во все черное.

Разодетый во все черное, и тем чрезвычайно похожий на грача господин, был достаточно высок и сухощав. При этом его костистое лицо имело, откровенно надменное и хищноватое выражение, усугубляемое вздернутыми, и не по-русски стреловидными усиками. А его цвета вороньего крыла, и слегка тронутые сединой на висках волосы, были как-то уж совсем непривычно для России семнадцатого века, коротко и аккуратно подстриженными.

На плечах незнакомца был черный *кунтуш*, на голове меховая шапка с вырезом спереди, из которого верх торчало длинное черное перо, а сбоку висела в того же цвета ножнах сабля, эфес которой, как гардой, был перехвачен стальной цепочкой.

Проезжая мимо съезжей избы, Ермолайка невольно бросил взгляд на стоящих у обочины столь колоритных людей, и с первого взгляда, определил весь облик черного человека КАК НЕРУССКИЙ. В отличие, например, от стоящего рядом с ним тиуна, обличье которого за версту выдавало в нем типичного уроженца средней полосы России.

Прервав на полуслове беседу, и внимательно проводив колючим взглядом, из-под надвинутой на глаза черной шапки, проезжающего мимо казака, черный господин произнес с легким нерусским акцентом:

– А это есть кто? – после чего требовательно, как человек имеющий право указывать, ткнул в спину удаляющемуся Ермолайке пальцем, рукой затянутой, несмотря на весеннее тепло, в черную кожаную перчатку.

– Эйтот-та? – Преисполненный важности тиун, который как настоящий хозяин хотел показать приезжему господину, что он в своих владениях знает всех и вся, степенно изрек со знанием дела. – Эйтот видать приезжим будет. Видать в Воронеж, аль ишо куды направляється...

Холодный взгляд черных глаз нерусского незнакомца, полоснувший Михрюткина как лезвие сабли, заставил его невольно поежиться.

– Я зело не кохаю случайных проезжих, особливо егда выполняю поручение самого... – и, нагнувшись над волосатым ухом тиуна, черный господин одним выдохом вполголоса выпалил – ...Гнидовича-Ришельского!

Произнесенное имя возымело на тиуна ошеломляющее действие. Его пышущее здоровьем лицо, от природы розоватого, как у доброго хряка цвета, сначала стало лилово-пунцовым, а потом залилось мертвенной бледностью.

– Дык, я ж оно... ежели что... я ж Модесту Зорпионовичу завсегда готовый... да хучь шас... – еле пролепетал Антип Перфильевич, почтительно снимая с головы горлатную шапку, и мучительно соображая, что же именно ему требуется предпринять, дабы прямо сейчас продемонстрировать свои верноподданнические настроения, относительно упомянутого Ришельского-Гнидовича. Так ничего толкового и не сообразив, но руководствуясь многолетним инстинктом начальственного самосохранения, гласившим, что в непонятных ситуациях, да еще и на глазах еще большего начальства, прежде всего, непременно надлежит проявлять рвение, Михрюткин, так и не рискнув одеть шапку, резво побежал к постоялому двору, привычно вихляя, а где надо то и перепрыгивая через многочисленные ухабы.

Неспешно направляющийся к тому же самому постоялому двору Дарташов, с легким недоумением проследил глазами, за стремительно обогнавшим его тиуном, успевшим буквально перед самой лошадиной мордой, проворно юркнуть в гостиничные ворота. Спокойно въехав во двор, Дартан-Калтык спешил к конюшине, и стал по-хозяйски обстоятельно привязывать к ней свою кобылу. В этот момент из дверей трактира, вывалился собственной персо-

ной, сам *кабацкий целовальник*, и придав своей лоснящейся от сытной жизни, весьма жуликоватой физиономии, как можно более зверское выражение, начальственно окрикнул Дарташова:

– Эй, ты... ты, там чаво?

– Да ничего – недоуменно ответил Ермолайка, – вот лошадь привязываю...

– Не положено тут – с еще более грозным видом заявил трактирщик, но после этих слов озадаченно замолчал, видимо соображая, что же именно было «не положено» делать в его владениях. В поисках ответа, целовальник вопросительно повернул голову к двери, из которой осторожно выглядывала багровая, от только, что совершенной пробежки, и что-то с присвистом нашептывающая ему рожа тиуна. Услышав подсказку, несколько мгновений лицо кабацкого целовальника отражало лихорадочную работу мысли, после чего оно просветлело, и трактирщик глубокомысленно изрек:

– Не положено тут кобыл привязывать. Токмо коней можно. Вот!

Лицо Ермолайки, которому уже дважды за сегодняшний день наступили на большую мозоль, указав на пол его лошади, насупилось... Подбоченясь и бросив на трактирщика внимательный взгляд нехорошо прищуренными глазами, он, тем не менее, пока сдерживался. Не дело это по каждому пустяку драку затевать...

– А пошто кобыл нельзя? – на всякий случай спросил Дарташов, имея наивное предположение, что здесь имеет место какое-то недоразумение.

– Ага! – Обрадовался целовальник, – так ты еще и бунтовать будешь – и неожиданно громко завопил – Караул! Держи татя!

На его призыв, как будто только и ждали, тотчас из кабацких дверей, с дикими воплями выбежало человек восемь кабацких ярыжек и половых, вооруженных кто дубиной, кто ухватом, а кто и вовсе сковородкой на длинной ручке. Защищая своего хозяина, они с верностью дворовых псов бросились на Дарташова, но как по команде разом остановились на безопасном расстоянии, в саженях двух, продолжая при этом разногласно вопить и воинственно размахивать свои холопским вооружением. Вслед им, из дверей выглянула довольно ухмыляющаяся физиономия Михрюткина, с уже гордо надетой на голову высокой боярской шапкой.

Надо сказать, что нашему Дартан-Калтыку, как прирожденному казаку, несмотря на еще незрелый возраст, уже неоднократно доводилось участвовать в различных боях и сражениях. Одним презрительным взглядом оценив боевой потенциал противостоящей ему холопско-трактирной братии, он, не трогая ни сабли не пистоля, спокойно достал из-за пояса казачью нагайку и, раскрутив ее над головой, сделал две молниеносные восьмерки, с одновременным шагом в сторону супротивников.

И одного этого шага, уже оказалось достаточным для того, чтобы всё это кабацкое воинство, дружно как по команде, отступило сразу на три...

Еще несколько таких Ермолайкиных шагов, сопровождаемые свистом крутящейся нагаечной плети, и ряды ярыжек непременно должны были бы окончательно дрогнуть и рассеяться, после чего сражение вполне можно было бы считать законченным. Но простодушный Дарташов не учел всей полноты холопско-трактирного коварства...

Тем временем, как трактирная рать героически вела брань (причем в обоих смыслах этого слова) с казаком, сам кабацкий целовальник, с невиданным проворством бросился обратно в дверь кабака. На своем пути он сбил оказавшегося на пути тиуна, и уже через пару мгновений, разорвав натянутый на раму бычий пузырь, буквально вывалился из окна на землю. Таким нехитрым маневром, он оказался на противоположной, от протекающей во дворе баталии, стороне кабака.

Там, схватив валявшийся рядом с пустыми ведрами коромысло, кабацкий целовальник, согнувшись в три погибели, крадучись стал пробираться вдоль стены к месту стычки, имея тайную мысль, в случае обнаружения его противником, одеть коромысло на плечи и прикинуться идущим к колодцу по воду...

Коварный замысел целовальника удался как нельзя лучше... Он успел подобраться к Дарган-Калтыку сзади, как раз в тот момент, когда его холопы, разом побросав свое оружие, с визгом бросились врассыпную

Визг холопов заглушил крадущие шагжки приближающего врага, и тогда на голову Дарташова, к вящему ликованию кабацкого воинства, с уханьем и хрястом обрушился удар коромыслом. От полученного удара, взор казака помутился, и он как подкошенный упал на спину, прямо под ноги кабацкого целовальника, остолбенело стоящего с обломком коромысла в трясущихся руках. Толпа кабацкой челяди, неожиданно увидев врага поверженным, с воинственными воплями, геройски набросилась на обездвиженное тело, и стала бесстрашно пинать его ногами.

– Назад... – раздался негромкий голос с легким иностранным акцентом, подействовавший на геройствующих холопов, как поданная хозяином команда на обученную собачью свору. После чего, к распростертому на земле Дарташову, неспешным шагом подошел одетый во все черное нерусский господин. Ярыжки с половыми при его приближении бесследно испарились, зато по правую от него руку, быстро нарисовался преисполненный важности от собственного могущества тиун, уже с гордо надвинутой на глаза горлатной шапкой.

– Молодец, – похвалил черный господин тиуна и покровительственно похлопал его по плечу – мы Модесту Зорпионовичу о сём похвальном рвении всенепременно доложим...

При этих словах лицо Михрюткина расплылось в счастливой улыбке, и, не зная как выразить обуревавшие его восторженные чувства, он от всей души дал подзатыльник, так и стоящему столбом, с куском отломанного коромысла в руках, и трясущемуся как осиновый лист кабацкому целовальнику.

– Пшёл вон отседа... – громко гаркнув, и дав напоследок пинка, еле улепетнувшему на трясущихся ногах трактирщику, он опять повернулся к господину в черном и, выпятив вперед грудь добавил. – Дык мы Модесту Зорпионовичу завсегда рады стараться, а надоть будет и не такое смогём...

– Сиё зело похвально, похвально... – не обращая уже никакого внимания на лепетавшего уверения в преданности тиуна, машинально произнес господин в черном, задумчиво глядя на лежащего без чувств Дарташова. – Так, а эйто что у него... – и выхватив из ножен саблю, он сабельным острием подцепил торчащий из разорванного ворота казачьего бешмета сложенный лист бумаги.

– Ага... послание к казачьему голове Николке Тревиню, от евойного односума и ясаула Дарган-Калтыка... Зело интересно, интересно... В этот момент лежащий у его ног Дарташов слабо застонал и открыл глаза. Стоящий над ним господин в черном, с саблей в одной руке и с его письмом в другой, было единственным, что ему довелось при этом увидеть, так как в тот же момент, сапог тиуна с яростью обрушился на него, и без того, раскальвающуюся от боли голову...

– Прекратить! – остановил Михрюткина, с занесенной для нового удара ногой, резкий окрик господина в черном. И после небольшого молчания, тоном, не терпящим возражений, он отдал распоряжение:

– Подобрать, выходить и отправить в Воронеж. За сим всё... – С этими словами господин в черном вложил саблю в ножны и спрятал письмо себе в карман, нисколько не сомневаясь в том, что все его указания будут в точности исполнены.

И тут же потеряв всякий интерес к происходящему, он отвернулся и устремился к спускающейся по крыльцу постоялого двора, весьма миловидной женщине.

## Прибытие в Воронеж и начало светской жизни

В точности исполняя поручения, отданные таинственным господином в черном, трактирные ярыжки отнесли безжизненного Дарташова на сеновал. Там местный лекарь промыл и обвязал тряпицами его раны, предварительно приложив к ним лекарственное снадобье, которое он самолично тут же и изготовил, старательно пережевав щепотку земли и пороха, с сушеной лягушачьей лапкой и паутиной.

Оставляя Ермолайку без сознания одного на сеновале, ярыжки проявили к нему невиданную доброту и заботу, даже не обчистив его карманы, а когда он очнулся, то и вовсе, принесли ему от имени кабацкого целовальника цельную краюху хлеба, шмат сала, две луковицы и добрую ендову с квасом. От столь заботливого ухода, молодой организм Дарташова, просто не мог, не поправится, и уже через три дня он опять был в седле.

Без малейшего сожаления оставив, столь гостеприимный Менговской острог, Дартан-Калтык уже на следующий день, без всяких приключений достиг конечной цели своего путешествия – славного града Воронежа, бывшего в ту эпоху, чем-то наподобие столицы южнорусского края.

От увиденного им, потрясающего воображение великолепия, у молодого и неискушенного жизнью казака, просто захватило дух...

Вообще-то говоря, Дарташову на своем веку уже доводилось видеть различные города и веси. Это кроме своего родного Черкаска, слывшего, надо сказать, по тем временам весьма немалым городом. Например, он видел Паншин городок, тот, что стоит у волжской переволоки, а ежели взять всё тот же турецкий Азов, то оно и вовсе... Но все равно, такой лепоты и градо-строительного разноширья, Ермолайка себе даже во сне представить не мог.

Стоя на берегу одноименной с городом речки, он, с восторгом и удивлением зрел перед собой, раскинутое на холмах верст аж на пять обширное городище. В центре городища, окруженная немалого размера *посадом*, стояла бревенчатая крепость с многочисленными башнями. Прямо не дать, не взять, а настоящий Кремль...

«Ух, ты... ну, прямо как Москва...» – вспомнил Ермолайка бабкины рассказы о столице, и с этой минуты, те тени сомнения, которые он все ещё, чего греха таить, порой испытывал, предпочтя столице московитов столичный град южного воеводства, у него полностью развеялись.

Сняв свой походный архалук и переодевшись в парадный *чекмень*, Дарташов воспользовался наплавным мостом на *бударах*, и благополучно переправился на тот берег. Там он среди разночинного люда миновал посад, и, не без трепета в сердце, въехал в открытые крепостные ворота...

Путь к славе и богатству был открыт. По крайней мере, именно так полагал Ермолайка... – ...Стой, кто таков? Куды прёшь? – перегородил дорогу Дарташову бердыш вратника, выглядевшего на удивление опрятным, и не в пример стражам Менговского кордона, в меру тверёзым. При этом копьё второго вратника уперлось своим острием, прямо в верхнюю часть груди Ермолайки, так и, норовя соскользнуть к незащищенной куяком шее...

Уже наученный опытом общения со служилым людом Московского царства, Ермолайка, гордо приосанившись в седле, и небрежно подбоченясь, грозно изрек.

– Донской казак Ермолайка Дарташов, изволит ехать к голове городовых казаков Тревину, по поручению евойного ясаула Дартан Калтыка! Пшёл вон отседа... – и с этими словами Ермолайка несильно хлестнул нагайкой охранника ворот по его бумазейной шапке.

Вчерашние холопы, а ныне «служилые люди по прибору», быстро отвели оружие в сторону, и покорно, стянув бумазейные шапки, поклонились столь знатному казаку, обнажив свои стриженные под горшок головы.

Миновав ворота и въехав в город, Дарташов очутившись на широченной, сажени в четыре, а то и пять, мощенной деревянными мостками улице. Вдоль улицы стояли строения самой разнообразной архитектуры. В основном это были, конечно же, деревянные русские избы, но порой встречались и мазанные украинские хаты. А иногда, даже натуральные казачьи курени, кои пытливый глаз Ермолайки, сразу же выделял из общей массы Воронежских домов.

Подъехав к одному из них, Дарташов справился у румяной молодухи, копавшейся возле куреня в огороде, как проехать к стану городских казаков. Выяснив, что стан расположен в казачьей слободе, там, где стоит терем казачьего головы батьки Тревиня, и, уяснив к нему дорогу, Ермолайка продолжил свой путь по петляющей вверх улице.

## В казачьем стане батьки Тревиня

Каменный терем казачьего головы Николы Тревиня оказался недалече, прямо за углом перед церковью, и был он, как оно и положено быть дому знатного казака – о двух уровнях и с непременною, проходящей вдоль всего второго этажа *галдареей*. Сам же двор терема, был обнесен не плетнем, и даже не забором, а вполне добротным частоколом, с видневшимися там и сям бойницами. Очевидно, дальновидный казачий голова не исключал возможности осады казачьей цитадели какими-либо супостатами, причем не обязательно пришедшими с Дикого Поля, и внутри русского города... Над воротами частокола был установлен казачий бунчук с белым конским хвостом.

Спешившись и привязав к коновязи перед частоколом свою кобылу, затем, сняв папаху и благочестиво перекрестившись на церковь, молодой Дартан-Калтык, зажмурив глаза, шагнул навстречу своей судьбе во двор полный казачьего народа...

– ...Так я ей и гутарю, ежели ты, боярышня, зараз белошвейку ожидала, то пошто же мне окошко в опочивальню отворила? Я чай, в сём швейном деле не шибко сведущ, зато в... – послышался Ермолайке мелодичный, приятный голос из стоящего у ворот небольшого кружка казаков.

– Гы-гы-гы... га-га-га... – донеслось дружное гоготанья луженных ка-зачьих глоток из другой группы, посреди которой, на саженной высоте, возвышалась голова высоченного запо-рожца, густым басом рассказывающего своим сотоварищам захватывающую историю:

– Тоди я, тому турку, й розмовляю, що долги трэба вэртать. Колы програв, так програв, скидай шальвары. Сорому в цём нэ мае, як шо попэрэд моими вочама гузном свитыть, я ж тоби ны баба... а халат з чалмой, мабуть, тоби щей прыгодяться, можэшь соби оставыть. Воны мени зараз без надобности...

– Гы-гы-гы... га-га-га... – еще пуще захохотали казаки, и даже прохо-дящий мимо Ермо-лайка, не мог не улыбнуться, представив перед собой бесштанного турка в чалме и халате.

Подойдя к лестнице ведущей не галдарею, Дарташов невольно вынужден был остано-виться, поскольку на ней, в этот момент, происходило весьма замечательное действие. Стоя-щий на середине лестнице, защищенный лишь мисюркой с кольчужной *прилбицей* и обнажен-ный по пояс пожилой казак, с помощью двух сабель, умело оборонялся от наседавших на него снизу молодых казаков. Великолепно работая саблями, казак в мисюрке умудрялся не только защищаться, но и ловкими ударами клинков сбивать с голов молодняка головные уборы. На его обнаженном мускулистом теле, во многих местах уже виднелись легкие царапины и небольшие, оставленные саблями нападавших струйки крови. Но, судя по всему, никакого сколь заметного внимания на подобные пустяки, он не обращал, продолжая удивлять окружающих филигран-ным мастерством бывалого воина.

Профессионально оценив как оборону матерого казака, так и промахи нападавших, Ермолайка терпеливо дождался пока все папахи молодняка будут сбиты на землю, и только тогда поднялся по лестнице вверх, дойдя до двери палаты казачьего головы. Охраны у дверей казачьего начальства не было, поэтому в очередной раз объясняться кто он и куда он, Ермо-лайке не пришлось.

Постучав и не дождавшись ответа, Дарташов не без труда открыл окованную железом дубовую дверь и оказался в просторной горнице. Посреди, увешанной различным оружием, горницы стоял стол, за которым расположились двое.

Во главе стола начальственно восседал сам казачий голова городских воронежских каза-ков, батька Тревинь. Несмотря на свои почтенные годы, он еще был достаточно могуч и кре-пок. Его седой чуб белоснежной волной спускался с иссеченной многочисленными шрамами головы на стоячий воротник богатой, прямо-таки боярской *ферьязи*. Горницу наполнял его

густой голос, диктовавший послание молодому, сидевшему напротив него, писарю, склонившемуся с гусиным пером в руках, над листом желтоватой бумаги.

– ... И так уж оно, княже, от веку повелось, что казаки донеские сие есть людишки вельми вольные и крестное целование отродясь не деяли, а посему и два лета тому назад под Смоленском, кады супротив ляхов Владиславовых вместиях с русскими воеводами билися, то и тады оне хрест целомкать пред русским государем отказалися. А ежели так пред самим государем случилось, то и нам городовым сей обычай менять никак немочно. Понеже служить мы всегда горазды, токмо волею казачьей поступиться нам негоже, не перед тобой князюшко, ни пред холопом твоим Модеской Ришелькиным. И даже не пред самим государем Михайлом Феодоровичем. На том челом тебе бьёт твой голова казачий Николка Тревинь, его ясаулы и сотоварищи...

– Уф, ну кажись всё. Перепишешь набело, поставишь мою печать, я подписуюсь и, опосля, снесешь в княжеские хоромы. Всё, свободен. – С этими словами Тревинь, поднял голову от стола и увидел стоящего в дверном проеме Ермолайку.

– Ты, чьих будешь молодец? Казак, али как? – И внимательно, сквозь царящий в горнице полумрак, присмотревшись к Ермолайке, добавил – Хотя... по обличью зрю, что кажись как казак... Не из верховых ли будешь казаче?

– Не-а, из низовых, из самой, что ни наесть коренной черкасни. – Ответствовал Дарташов и добавил – Привез поклон тебе, атаман, от твою давнишнего односума и ясаула, батьки мово Дартан-Калтыка.

– Это, который такой Калтык? С которым мы вместиях из черкесского плена бежали? Лукаво прищуриив глаза, намеренно исказил место своего нахождения в плену хитроумный Тревинь.

– Насчет черкесского не ведаю, о ём батяня мне ничего не гутарил. А вот про татарский полон в Крыму, было дело, обговаривал. Да еще про то, как вы по Волге-матушке вместиях шарпальничали...

При упоминании эпизодов своей буйной голутвенной молодости, Никола Тревинь неожиданно прервал рассказ Ермолайки, резко став из-за стола, и приложив к губам палец, опасливо покосился в сторону окон. После чего, выйдя из-за стола, подошел к Дарташову и заключил его в свои медвежьи объятия.

– Ну, здорово Калтычонок, зело рад тебя лицезреть, похож, как же похож, такой же чубатый и прямоносый как и батька твой. Ну, и аки же он там? Всё еще в седле сидит, али уже всё больше у курене на печке полеживает? – обстоятельно начал расспрашивать о житие-бытие своего старого боевого товарища казачий голова. И получив не менее обстоятельные ответы, вплоть до подробного описания последнего похода донцов на ногайцев, в котором и сам молодой Дарташов принимал непосредственное участие, а то время как старый Дартан-Калтык командовал бабско-юношеским ополчением, батька Тревинь, наконец, спросил о главном.

– А к нам в Россию пошто пожаловал? Нешто на Тихом Дону тебе в тягость стало? Али ты, казаче, царю русскому послужить возжелал? И получив утвердительный ответ, добавил.

– Сие есмь зело похвально. В городовые казаки никак метишь?

– В них, батька-атаман.

– Ну, лады. Казак ты, судя по всему, справный. Чай не мужик сиволапый, так что службицу казачью сдюжишь. Ну, давай сюда батькину цидульку, а я покамест глаздом пораскину в какую сотню тебя приписать...

– Нету...

– Как нету? Да неужто батька твой, ясаул мой старинный Дартан-Калтык, не снабдил тебя в дорогу, какой-никакой грамоткой? Да быть сего не могёт. – С этими словами грубое, медвежьеподобное и иссеченное шрамами лицо казачьего головы приняло неприступное каменное

выражение. Отстранившись от Ермолайки, он вернулся назад на место, сел обратно за стол и грозно сдвинув брови, начальственно изрек:

– Ответствуй!

– Да было, было оно письмишко то, – потупив от стыда очи, еле пролепетал Дарташов, и сбивчиво, перескакивая с одного на другое, поведал батьке Тревиню о своих злключениях на Менговском остроге.

– Да, дела-а-а. – Только и произнес батька по окончанию Ермолайки-ного рассказа. – Ну, посуди сам, казаче, как мне тапереча с тобою быть? Ну, обличьем ты вроде бы как с Дартан-Калтыком схожий, ну а вдруг ты всё же кто другой будешь? А вдруг ты есть Модескин *истец*, в тайности засланный ко мне, дабы выведать мои замыслы? Как ты гутаришь, выглядел тот господин в черном, тот который спёр у тебя ту цидульку? А шрама у него на левом виске, случаем не было?

Припоминая лицо своего ненавистного врага, взгляд Ермолайки случайно упал в окно, через которое отлично проглядывался двор и распахнутые настежь ворота. В воротах хорошо была видна часть коновязи, краешком выглядывал круп его, Ермолайкиной кобылы, а рядом с ней...

От увиденного глаза Дарташова гневно сузились, резко очертились скулы, и плотно сжались губы. Рядом с его кобылой, завернувшись, видимо для пущей маскировки, в черную *епанчу*, тайком всматриваясь в стан городских казаков, стоял именно ОН, тот самый, столь ненавистный Ермолайке господин в черном...

– Энто он... – только и смог процедить сквозь сжатые от гнева губы Ермолайка. – Он, тот самый, с Менговского острога... Ну, погодь... – и рука Дартан-Калтыка непроизвольно легла на рукоять сабли, – заразу уж я назад свою цидулку и возвращаю...

– Стоять! – оглушительно рявкнул, дернувшись было Дарташову батька Тревинь, и, повернув к нему, своё внезапно побледневшее лицо добавил. – Упаси тебя Бог, сынок, иметь какое-нибудь дело с сим человеком...

– Ни чё... семь бед один ответ... *Сарынь на кичку!* – и, не послушавши совета мудрого казачьего батьки, Ермолайка стремглав бросился к дверям...

– Эх, молодость, молодость, – глядя вслед убежавшему Ермолайке, задумчиво произнес батька Тревинь, пряча в густых белоснежных усах ностальгическую улыбку от сладостных воспоминаний, навеянных на него этим, уже порядком подзабытым за время русской службы, древним кличем казачьих шарпальников.

Тем временем, выскочив из дверей на галдарею и прыжком через перила перемахнув на лестницу, Дарташов, приземлившись на ступеньки, случайно толкнул плечом поднимавшегося по ней казака Захария Затёсина по прозвищу Затёс.

Надо сказать, что Захарий Затесин, в среде разношерстной казачьей братии, личностью был исключительной и весьма даже заметной. Дело в том, что его казачий род имел, ни много, ни мало, а более чем двухвековую историю службы Русскому государству.

Его предок Васька Затёс, родом из *бродников*, был одним из тех, кто после разгрома Золотой Орды Тамерланом, оставшись в опустевшем Диком Поле не у дел, решил в поисках лучшей доли податься на север. Надо сказать, что до этого, побывать в северных краях ему уже доводилось, причем на том самом Куликовом поле, где казаки впервые вышли на брань вместе с русичами сражаться за справедливость. Каковую казаки тогда понимали исключительно в обуздании узурпатора законной ханской власти в Орде, этого выскочки – темника Мамаю. Так что места южной окраины Русского государства, были для Васьки уже отчасти знакомы.

Правда, до Москвы Затес тогда так и не доехал, решив временно остановиться в первом встреченном ему на пути большом городе – Рязани. Да так и остался там навсегда, тем более что Рязань, в те времена от Москвы сильно-то и не отличалась и даже временами с ней соперничала.

Надо сказать, что свое прозвище «Затёс» Васька получил, за свое искусное умение в бою обращаться сразу с двумя казачьими топориками – *чеканами*, кои носил он завсегда с собой не менее четырех. Причем два чекана он с двух рук, перед началом схватки, метал в противника, а с двумя другими в руках, быстро его «затесывал» каскадом молниеносных ударов.

Искусство Затеса, как нельзя в пору пришлось на Рязанской земле, где он сначала вдоволь «позатесывал» литвинов князя Витовта, потом, опять-таки татар, а тут и до разборок Рязани с Москвой дело дошло. Так, что был городской Рязанский казак Васька Затёс, всегда при деле, а значит, по тем временам, и при достатке.

Да и впрямь, чем не мила казаку такая жизнь, воюй себе в свое удовольствие, да тебе за это еще и жалованье регулярно платят. Ну, а ежели вдруг надоест, или там начальство обижать начнет, то вот она воля-то, прямо от Рязанских стен и до самых Кавказских гор тянется... Сел на коня, выехал за крепостные ворота, и поминайте люди добрые, как звали казака в бытность его на русской службе...

Только так и не сел Затес в седло и не выехал за ворота, а совсем даже наоборот, сначала домишко с огородиком себе прикупил, потом жонкой обзавелся – румяной рязанской молодой, а та ему быстро целую ораву казачат и нарожала. Так и остался Васька Затес на русской службе, и даже дни свои окончил дома, в старости и в окружении многочисленных домочадцев, что по тем временам для казака было большой редкостью. Все рожденные от него Затёсы, Тихого Дона уже не знали, но городскими казаками Руси служили исправно, бережно храня и передавая по наследству искусство казачьего «затесывания» чеканами.

Шли годы, десятилетия, потом века, и раздробленная слабая Русь вдруг стала весьма даже крепкой Московией, имея в дальнейшем явное устремление стать Великой Россией, и все это время, верой и правдой ей служили городские казаки Затесины.

Один из них, примерно через век после натурализации в русском государстве легендарного Васьки Затёса, за героизм проявленный им во время исторического стояния на реке Угре, после которого Русь окончательно освободилась от татарской зависимости, был удостоен служилого дворянства. А дед Захария, так тот во времена Иоанна Грозного, геройски проявив себя сначала при штурме Казани, а потом весьма преуспев как в Ливонской войне, так и на ниве опричнины, то тот и вовсе...

Впрочем, об этом в другой раз...

Затёсины на удивление благополучно пережили страшное Смутное время. Сначала, искренне не ведая, где же она есть, эта самая истина и справедливость, они всласть повоевали на всех сторонах и со всеми, с кем только было можно (в том числе и под знаменами атамана Заруцкого). А в последок, наконец-то осознав, где же она истинная правда-то для русской земли кроется, дружно встали под знамена князя Пожарского, и весьма деятельно поучаствовали в установлении долгожданного для Руси порядка. За что и были потом по-царски вознаграждены первым представителем династии Романовых, расширением своей родовой вотчины в Тверском уезде, причём исключительно за счет удела соседа, неосмотрительно павшего в смутное лихолетье на стороне Тушинского вора...

Новый царь, новые времена, новые порядки, и стали дворяне Затёсины приближены к царскому двору, уже даже и домом каменным в первопрестольной обзавелись... Только вот случилось вдруг так, что предпочел Захарий Затёсин не в государевых Кремлевских палатах выслуживать себе чины и титулы, а послужить, как и его дальний предок, простым городским казаком на границе Русской державы со степью.

А таковым, пограничным с Диким Полем городом, в начале семнадцатого столетия оказался именно Воронеж...

Вот и поднимался сейчас, по лестнице на галдарею терема головы городских казаков, русский дворянин и *сын боярский* Захарий Порфирьевич Затёсин, именуемый в казачьей среде по своему родовому прозвищу «Затёс».

Роста он был чуть выше среднего, телосложения ладного и, на первый взгляд, вроде бы обычного, но в то же время, во всей его стати угадывалась скрытая мощь умеющего постоять за себя воина. Личина же его, не в пример большинству разухабистых казачьих физиономий, была по меткому выражению тех времен: «чиста и благообразна».

Прежде всего, в лице Затёса обращали на себя внимание его холодные, серо-стального цвета глаза, пронзительный взгляд которых, брошенный на противника перед схваткой, порой останавливал его похлеще доброго удара клинка. Нос же Затёса был в меру прямым и, в то же время, на конце слегка вздернутым. Именно слегка, как бы только для того, чтобы этой самой легкой вздёрнутостью подчеркнуть свое типично российское происхождение. Да и весь овал его лица был по-славянски плавным, без излишней татаро-монгольской угловатости, но в то же время и достаточно твердым, выдавая его недюжинную волю. Слегка выющиеся, темно-русые волосы Захария, а также его усы с небольшой бородкой, в отличие от остальной казачьей братии, были всегда аккуратно подстрижены и тщательно расчесаны. Традиционного же казачьего чуба Захарий Затёсин не носил.

Под его тонкими, слегка подкрученными кверху усиками, всегда таилось то выражение, каковое впоследствии назовут легкой саркастической улыбкой повидавшего на своем веку человека. И поскольку в первой половине семнадцатого века, изящный налёт лёгкой дворянской иронии, как стиль жизни ведущего сословия Российского общества, еще не получил своего широкого распространения, то современники называли выражение губ Затёса «спесивой ухмылкой». Что, впрочем, его никак не задевало.

В общем, лицо Захария Затёсина, вполне можно было бы назвать типичным для представителя уже новой российской аристократии, зарождающейся в русском обществе, в противовес старой «древнярусской» знати. Той самой новой аристократии, каковая в петровские времена, вместо бородатого боярина в парчовой шубе и в шапке высотой с печную трубу, вдруг явиться на всеобщее обозрение в камзоле, в треуголке и при шпаге. Да при этом будет выглядеть во всем этом столь элегантно, что хоть сразу бери, да на версальский бал. Хотя, к тому времени, уже и отечественные петербургские балы будут ничем не хуже...

Пока же на голове Затёса, в соответствии с допетровской эпохой, вместо треуголки красовалась шапка самого, что ни на есть казачьего покроя. А именно, новомодная, по тем временам, папаха, причем в отличие от «уставной», то есть принятой у казачьих городовиков, была она не овчинной, и даже не каракулевой а... соболей. И это в то время, когда даже сам казачий голова Тревинь носил всего лишь бобровую. Ну, и естественно, что алый шлык с золотой кисточкой на конце, свешивающийся с верха такой папахи, у Затёса просто обязан был быть не суконным, а парчовым.

Надо сказать, что в те времена, для служилого люда единая форма еще не являлась чем-то строго обязательным. Но, тем не менее, она уже существовала и в зависимости от местности, нрава начальства и других подобных обстоятельств, более-менее соблюдалась.

Так большинство городских казаков были одеты в васильковые чекмени единого образца, с красной выпушкой, и в такого же цвета шаровары. А уж из вырезов открытых на груди чекменей, выглядывали самые разномастные русские косоворотки, украинские сорочки с вышивкой, а также типично казачьи бешметы. Широленные шаровары заправлялись в самые различные виды обуви, от русских сапог, до казачьих ичигов и татарских чедыг. Лаптей, правда, ни на каком, даже на самом, что ни на есть захудалом казаке – не наблюдалось. В общем, опытному наблюдателю, достаточно было одного беглого взгляда, чтобы по облику служилого человека, сразу же определить его имущественное положение, социальный статус, и даже происхождение.

Надо ли говорить, что описываемый нами Захарий Порфирьевич

Затёсин, всем своим обликом и амуницией соответствовал своему благородному дворянскому званию. И сапоги у него были сафьяновые, и чекмень атласный, и сабля в дорогих посеребренных ножнах.

В общем, весь облик Затеса отвечал тому понятию, какое именуется вкусом, который, как известно, или есть или его нет. А у Захария Затесина он явно был. Причем достаточно изысканный.

Но кроме общей импозантности, главной особенностью Затёса, сразу же выделяющей его из общей казачьей массы, было всё же его специфическое вооружение. Дело в том, что в те, крайне лихие времена, когда казака без оружия просто не существовало, воинское снаряжение служилого люда отличалось чрезвычайным разнообразием. Так, поступая на городовую службу, казак получал от русского начальства: коня, как правило, откровенно малопригодного для степной походной жизни, а также скованную каким-нибудь крепостным кузнецом, ранее ковавшим исключительно косы и лемехи для плугов, нисколько не сбалансированную, и никак неприспособленную к казачьей рубке саблю. Это, не считая огнестрельного оружия, которое старались выдавать не столько подобротней, сколько более-менее пооднообразней, или, если можно так выразится, «пооднокалиберней».

Получивший царское довольствие казак, по укоренившейся традиции, поступал с ним следующим образом.

Коня он потихоньку продавал и пропивал, предпочитая вместо казенной савраски нести службу на своем родном дончаке. Выданное же государево огнестрельное оружие держал в строгости и готовности, а вот саблю с презрением запрятывал с глаз долой, заменяя ее своим родным казачьим вооружением. Воеводское начальство о подобных казачьих хитростях ведало, но предпочитало смотреть на них сквозь пальцы. И потому весьма лояльно, несчетное количество раз, выслушивало пространные объяснения о безвременно павшем коне, так как абсолютно точно знало, что на своем степном дончаке, казак служить будет не в пример лучше. Ну, а о боевом превосходстве настоящего казачьего оружия перед кустарной саблей, вообще говорить не приходится...

Это уж потом, уже в Российской Империи, казак на службу будет приниматься непременно на своем коне, а пока честно пропитый государев конь, считался, чем-то вроде подъемного подспорья к жалованию.

В общем, вооружены городовые казаки на русской службе были так, как им заблагорассудится, лишь бы в бою сподручней было. Кто отдавал предпочтение многочисленным пистолетам, затыкая их за Кушак и даже кладя за пазуху, кто в дополнение к сабле подвешивал к поясу сразу пару кинжалов, а кто особо жаловал кистени или палицы. Вот и Захарий Затесин, как настоящий потомок легендарного Васьки Затёса, кроме «табельной» сабли, всегда носил при себе сразу четыре казачьих чекана. Два за Кушаком, спереди и сзади, и два в голенищах сафьяновых сапог.

Впрочем, сейчас Затесу было не до чеканов, поскольку его правая, свисающая неподвижной плетью рука, явно была не в лучшей боевой форме. И вдруг...

...И вдруг в правое плечо Затёса, и без того весьма болезненно ноющее, своим плечом, с разгона, ударяется, стремительно перепрыгнувший на лестницу через перила галдареи Дарташов. От неожиданности и внезапной боли, Затёсин вскрикнул и побледнел. Надо сказать, что боль в его правой руке объяснялась тем, что вчера, занимаясь своим привычным делом, а именно, в очередной раз, задравшись со стрельцами Ришельевского-Гнидовича, он оказался ранен. Так уж получилось, что стрелецкий, взявшийся откуда-то сбоку бердыш, в нарушение всех действующих правил, полоснул своим лунообразным лезвием по его, изготовленной для броска руке.

И это притом, что бросал-то Затёс чекан вперед обушком, а отнюдь не лезвием. Да и не просто обушком, а обушком, из которого предварительно был вывинчен гвоздеобразный кле-

вещь, и все это для того, чтобы только поразить противника. То есть, сбить его с ног и победить, но при этом непременно оставить живым и не увечным. Чай они тоже люди православные и русские, хотя и супротивники...

Кроме того, убийство служилого человека, по законам Русского государства весьма строго каралось. За него полагалось сразу на плаху под топор, или же, в случае проявления особого милосердия, можно было быть удостоенным оказаться засеченным плетью палача всего лишь до полусмерти. Вот и дрались казаки с рিশельцами (так в обиходе стали называть стрельцов личного *разряда* Рিশельского-Гнидовича) весьма и весьма аккуратно. Если на саблях – то били плашмя или *елманью*, если копьем – то били тупым концом и древком. При этом бердышей, палиц и прочего тяжелого оружия, вообще, от греха подальше, старались избегать. Причем, начиная схватку всегда оружно, заканчивали её, как правило, традиционным расейским мордобоем.

Но дрались... Дрались постоянно и отчаянно, испытывая друг к другу, какую-то необъяснимую лютую вражду. Причём не сами рিশельцы, не городовые казаки, истоков той вражды не ведали, простодушно воспринимая постоянные стычки друг с другом, чем-то на вроде обязательной части своей государевой службы. Но вражда-враждой, драка-дракой, а полосовать по руке лезвием бердыша – это уже слишком...

Так что сейчас Затёс имел все основания быть недовольным. А тут еще вдобавок ко всему, к обиде от незаслуженного поражения и к ноющей боли от раны, ещё и этот полоумный на него с галдарей сиганул...

Прямо-таки, аки козёл с горной кручи... Да ещё словно специально целился, точнехонько именно в раненную руку и угодил...

И превозмогая острую боль в правой руке, раскаленной иглой пронзившую ее выше локтя, Затёс здоровой левой рукой поймал бросившегося было бежать Дартан-Калтыка сзади за Кушак, и резким рывком развернул его лицом к себе. После чего, глядя прямо в синие глаза Ермолайки, сказал, иронично изогнув дугой бровь.

– Ну, и пошто ты, аки козел бодливый на добрых людей кидаешься? Али у вас там, отколь ты к нам прибыл, так и повелось, что через перила на людей козлом сигать полагается?

Всем своим естеством стремясь, как можно скорее, освободится от неожиданной задержки, и в то же время, будучи как истинный казак, просто обязан колкостью ответить на колкость, Ермолайка мельком оглядев неказачье обличье Затёсина и резко бросил.

– «Козёл» – сие по-нашему, по-казачьи, «цапом» зовется. А вот тот, кто из нас двоих «цапом» или может быть «кацапом» будет... то с энтим еще надоть разобраться...

– Ах, ты так, – и стальные глаза Затёса, которому сейчас так тонко намекнули на его типично русскую внешность, жёстко полоснули по Дартан-Калтыку, окатив его с головы до ног волной полнейшего презрения, словно ушатом ледяной воды. – Ну что ж, давай разберемся. В полдень у Успенского монастыря... Смотри не струсь, а то все одно, найду и чуприну твою кудлатую, вот этим самым чеканом, что у меня за кушаком, в мгновенье ока и отчекрыжу...

С этими словами Захарий Затёсин наконец разжал руку и Ермолайка обретя долгожданную свободу, стремглав спрыгнул с лестницы на землю, после чего стремительно продолжил пробираться к воротам. Кратчайший путь к воротам лежал мимо казака саженого роста в шёлковых шароварах, с кобеньком на плечах, и с диковинным оружием, свисающим с его бочкообразной груди. И первое, что бросалось в глаза, то это, прежде всего, его необычайный рост и необъемные размеры, выделявшие казака с кобеньком из любого людского общества. Так, все сгрудившиеся вокруг него казаки, доходили ему в лучшем случае до плеча, а то и вовсе только лишь до груди.

Звали гиганта Опанас Портосенко и его имя, как и весь его внешний облик, в сочетании с мягким украинским говором, безошибочно подсказывали, что был сей Опанас – ни кем иным как запорожцем. Его голова, как оно запорожскому казаку и положено, была гладко выбрита

и имела красивейшую чуприну, а именно русский чуб-*оселедец*, который мягкой волной спускался с макушки вдоль правой щеки до подбородка, а потом кокетливо закладывался за ухо. Бороды, по запорожской моде, Портосенко не носил, зато его пушистые усы свободно свисали до самой груди, касаясь украинской вышивки на его сорочке. На ногах же запорожца, красовались изумительные шелковые шаровары, а обут он был в мягкие турецкие туфли с золотым шитьем. Чекменя на Опанасе не было, вместо него, несмотря на явно солнечную погоду, прямо на расшитую веселым узором сорочку, со спины запорожца был наброшен украинский кобеляк, закрепленный на могучей шее тесемкой.

На уровне груди великана находилась огромная рукоять двуручного рыцарского меча, как-то хитроумно продетая через специальные кольца и ремешки перевязи, наискось пересекающей его мощный торс. Только вот самого рыцарского меча, как такого и не было, а вместо него была гигантская, исходящая из рукояти и доходящая почти до самой земли сабля. Причем сабля с изогнутым, как оно и положено клинком, и шириной... почти, что в две ладони. Надо сказать, что до груди сабля доходила только Опанасу, нормальному человеку она была бы вровень с головой. Ножен на сабле не было, да и быть, в принципе, никак не могло, поскольку никакого размаха рук, даже столь огромных как у Портосенко, для ее извлечения из ножен всё равно было бы недостаточно. Поэтому «оглобушка», а именно так трепетно и любовно величал свою великанскую саблюку Опанас, носилась на перевязи через грудь, прикрепляясь к ней сложной системой колец и ремешков. Причем, несмотря на сложность крепления и непривычный способ ношения оглобушки, в нужный момент, боевое положение она принимала буквально за считанные секунды.

Заполучил же свою оглобушку Портосенко следующим образом. Поскольку был он казаком запорожским, то к его основной профессиональной казачьей специализации, а именно к различной татарве и туркам, в качестве дополнительного вражеского элемента были, естественно, присовокуплены ещё и ляхи. И вот как-то раз, занимаясь привычным козацким делом, а именно разоряя очередную ляшскую латифундию, нагло возведенную одним из польских магнатов прямо на берегу Днепра, посреди невиданной роскоши, Опанас наткнулся на золоченные рыцарские латы еще времен достопамятной Грюнвальдской битвы. Сами латы никакого впечатления на него не произвели, а вот от вида огромного двуручного, сжимаемого рыцарскими перчатками меча – *риттершверта* у Портосенко перехватило дыхание, и гулко забились сердце...

Передав золоченные латы в общий дуван (из них потом четверть пуда чистого золота выплавляли), Опанас упросил братьев сичевиков оставить для него столь приглянувшийся ему меч. Меч и впрямь был прекрасен, а главное, хоть и изготовлен более двух столетий назад, но сработан прямо как под Портосенко. И вес, и длина – все соответствовало, только вот был он, как оно мечу и положено прямой, а значит, к казачьей рубке мало приспособлен.

Прибыв на Сечь, Опанас на следующий же день, прижимая левой рукой к сердцу меч, а правой неся штоф горилки, с зажатым подмышкой жареным поросенком, и имея при себе еще пару штофов в карманах шаровар, отправился к кузнецу, справляющему оружие для всего его *коша*. Три дня из кузни валит дым, и только на четвертые сутки из нее вылез дочерна перепачканный сажей хмельной Опанас, и, щурясь от яркого солнца, победно воздел на высоту своей вытянутой руки уже не рыцарский меч, а самую натуральную «козацку саблю».

Да, не зря они с кузнецом трудились, три штофа горилки выпили и целого поросенка съели, потому как неуклюжий и прямой, как аршин, немецкий риттершверт, в казачьей походной кузне вдруг превратился в по-своему даже изящную саблю. Правда, весьма гигантских размеров, но зато прекрасно сбалансированную для нанесения рубяще-режущих ударов. Рукоять же меча так и осталась нетронутой, разве что какое-то латинское изречение (видимо, рыцарский девиз бывшего владельца) с перекладины рукояти напильником спилили, а вместо него зубилом, как умели, выбили короткое слово: «Опанас».

И стал тогда Портосенко, и без того в рубке непревзойденный, теперь благодаря оглобушке и вовсе непобедимым.

Так и жил лихой козацкой жизнью в Запорожской Сечи Опанас Портосенко, не зная горя-печали, только случилось как-то на Украине большое разорение от Крымского хана. Причем басурмане не просто пограбили пожитки, а еще с истинно восточным коварством взяли, да и изничтожили всю свиную породу, бывшую в то время основным источником козацкого провианта. Ясное дело, казаки расквитались с ними тем же. Как оно и положено, лихим набегом они перешли Перекоп, уничтожили в отместку все, что только попадало по пути, и угнали к себе в виде компенсации за восточное коварство бесчисленные отары скота. Так что провиантом запорожцы себя вполне даже обеспечили и от голодухи явно спаслись.

Но приуныл тогда, несмотря на удачный поход, Опанас Портосенко. Дело в том, что состоял угнанный у татар скот исключительно из овец и баранов, а баранина – она и есть баранина, от голода, ясное дело, она казака, конечно, спасает, только вот сало-то в ней ведь тоже баранье, а его только татарва потреблять и может...

Надо сказать, что до сала был Опанас вельми большой охотник. На спор до четверти пуда за день мог съесть, лишь бы были хлеб с *цибулей* да добрая горилка на запивку. Промаявшись на постной баранине без любимого сала с пару месяцев, погруженный в глубокую меланхолию Портосенко собрал свои нехитрые пожитки и поклонился честному «сичевому товариству», чтобы не поминали лихом. После чего отправился Опанас попытать счастья на северо-восток, здраво рассудив, что ежели татарских разорений там поменьше, то и с салом, может статься, таких перебоев не бывает.

Так и попал запорожец Опанас Портосенко в славный город Воронеж. Сам Воронеж он нашел огромным, сало восхитительным, водку, бытовавшую там вместо горилки, вполне приемлемой, а городскую службу весьма необременительной. Так и стало одним городским казаком на русской службе больше. Служил Опанас исправно, рубал оглобушкой всяческих государевых ворогов «дюже добрэ» и имел тайную мечту, отслужив сколько понравится, закупить на все жалованье несколько возов русского сала и с «яким гарным» обозом вернуться назад в Запорожскую Сечь, то-то братья сичевики порадуются... Да видно к описываемому периоду пора обрадовать братьев еще не подоспела. Вот и стоял сейчас Опанас в окружении не запорожских, а донских казаков и в лицах рассказывал им, как ему надясь удалось обыграть в зернь проезжавшего через Воронеж турецкого купчину, заполучив таким образом в свое пользование столь прекрасные шелковые шаровары.

– А на послидок я й ёму, ще, промовыв, як ты, твое турське добродие, будэшь возвэртатысь, заразом *поклычь* Опанаса, тилькэ щоб шальвары на тоби, булы трохи погарнице пэрших...

– Ох-хо-хо, гы-гы-гы, га-га-га – заходились от хохота казаки и громче всех громовым раскатистым голосом хохотал сам рассказчик.

Тем временем в воротах мелькнула черная тень, и Дарташов во весь дух бросился к ней, по ходу движения ловко лавируя между стоящими по всему двору казаками. И так уж получилось, что кратчайший путь к воротам теперь пролегал между находящимся в центре двора колодцем и могучей спиной Портосенко. И как только Ермолайка юркнул в щель между ними, как на грех, внезапно налетевший порыв ветра приподнял свободно свисающий с плеч Опанаса кобеняк, накрыв его суконным полотнищем, как саваном, пробегающего мимо казака с головой...

Да... случай и гигантский рост Портосенко сыграли с ними презлую шутку...

Пробежав с накрытой головой, по инерции еще шага три, Дарташов тем самым натянул *кобеняк* и разорвал тесемку, крепившую накидку на мощной шее Опанаса. Но на четвертом шаге Ермолайка уже поневоле был вынужден остановиться, поскольку гигант, проявив неожиданную для своей комплекции ловкость, успел молниеносно взметнуть в бок руку и не обо-

рачиваясь поймать край чекменя Дарташова своей могучей дланью. Без малейшего усилия притянув назад кобеньяк вместе с барахтающимся в нем Ермолайкой, поставил его боком от себя. Затем Портосенко, продолжая от души хохотать, разжал пальцы, отпуская ермолайкин чекмень, и проворно той же рукой перехватил его сзади за перевязь сабли, предоставив Дарташову возможность самостоятельно выпутаться от накрывшей его голову накидки.

Сбросив с головы суконную ткань и наконец-то освободившись от неожиданного препятствия, Дартан-Калтык рванулся было опять в сторону ворот, но... оказался на месте... Поняв, что так просто вырваться ему не удастся, а сбросить с себя саблю вместе с зажатой в огромном кулаке запорожца перевязью, по казачьему обычаю, означало бы нанести самому себе оскорбление, Дарташов тяжело вздохнул и от безысходности развернулся лицом к боку Опанаса.

– Ты шо ж цэ, бисово отродьде, нэ бачишь куды прэшь? – добродушное от природы лицо Портосенко, еще не остывшее от смеха, наконец-то повернулось в сторону Дарташова. Задрав голову, для того чтобы лицезреть своего неожиданного собеседника, Ермолайка, все еще снедаемый горячим желанием продолжить погоню, сквозь зубы процедил:

– Извиняй, запорожец, спешу я...

– А вочи свои булькати ты, випадком поспишаючи, в хати не забыв? – неспешно продолжил Опанас, хитровато прищутив глаза и тайком подмигнув окружающим в предвкушении очередного развлечения.

– Очи мои, как ты сам зришь, зараз на месте. – Резко ответил Дарташов, которому уже стали порядком надоедать всякие неожиданные, неведомо как возникающие на его пути препятствия. Желая освободиться от мощного захвата Портосенко, Ермолайка вдруг поднырнул под его руку и оказался на полшага у него за спиной. При этом перевязь прокрутилась по телу Дарташова, сместив саблю с бока к плечу, а крепко сжатый ядерный кулак Опанаса оказался прямо перед ним...

И если бы Портосенко был более-менее нормального роста и телосложения, то из такой позиции для Дарташова не составило бы особого труда сейчас взять его руку на излом, локоть к себе – кулак от себя, и таким нехитрым приемом положить противника на землю. После чего, вырвав из руки лежащего на земле Опанаса сабельную перевязь, можно было бы смело продолжать свой путь. Но все приемы борьбы, которыми Ермолайка, как и всякий уважающий себя казак, отлично владел, в данной ситуации, ввиду гомерических размеров противника, увы, были абсолютно бессильны. Безуспешно попытавшись одной рукой потянуть локоть и другой надавить на запястье гиганта, Ермолайка тем самым вызвал только дружный взрыв хохота окружающих. А громче и обидней всех гоготал сам Портосенко, да еще и сквозь смех, с непередаваемым хохляцким юмором подначивал:

– Швидчэ... хлопчик, довертай... – и поддразнивая Дарташова, сам начал было изгибать свою руку, делая вид, что поддался его усилию. Изогнув вперед руку, хитрый Опанас вдруг резким движением вернул её в прежнее положение. От неожиданного обратного толчка, пришедшегося прямо в лоб, Дарташова откинуло назад, и он неминуемо бы упал на землю, если бы его не поддержала на весу эта треклятая перевязь...

Теперь над ним потешались все, кто только находился в этот момент во дворе. От стыда и гнева отведя глаза в сторону, Ермолайка случайно бросил взгляд за спину Портосенко, и тут неожиданно его лицо просветлело. Увиденное подсказало ему, как с честью выйти из постыдного положения всеобщего объекта посмешища.

– Ты тута насчет моих очей вопрошал, так знай, очи мои есть зело всевидящи, и зрят они порой даже то, что другим и зреть неповадно... – после этих слов, Дарташов с шутовским выражением на лице заглянул за спину Портосенко. Вслед за ним его примеру последовали и все находившиеся рядом казаки...

Новый взрыв хохота потряс казачий стан. Опанас же вдруг густо покраснел, и наконец-то отпустив перевязь Дартан-Калтыка, быстро сложил обе руки сзади ниже спины, но было уже

поздно. Оказалось, что сорванный Ермолайкой кобеньяк был одет запорожцем далеко неслучайно. Опускаясь ниже спины до щиколоток, он служил ничем иным, как прикрытием тыла Портосенко.

Дело в том, что чудесные шелковые шаровары, выигранные Опанасом в зернь у турка, будучи в принципе безразмерными (на то они и шаровары), тем не менее, в поясе и чуть пониже его, были весьма дородному запорожцу катастрофически маловаты. Потому как турок тот был хотя и высокий, но чреслами явно не великий. Так что если по длине шаровары пришлись вполне впору, то вот по ширине...

Но здесь хитроумный Портосенко проявил чисто украинскую смекалку. Он распорол шаровары сзади по шву и добротнo вшил туда кожаную вставку шириной в две ладони, практично рассудив, что тем самым он убивает сразу двух зайцев.

Во-первых, шаровары по обхвату расширяются и становятся как раз впору, а во-вторых, их нежный шёлк не будет лишний раз тереться об седло и потому прослужит не в пример дольше. Ну, а кобеньяку при этом отводилась роль своеобразной маскировки. И в принципе, хитрость Опанаса вполне бы удалась, если бы не этот досадный казус с Ермолайкой...

Вмиг став объектом насмешки, Портосенко по-бычьи насупил своё в общем-то от природы достаточно добродушное лицо, и в сердцах отшвырнув сабельную перевязь Ермолайки, с налитыми кровью глазами проревел:

– Шо б у полудэнь, шкода, був биля монастыря...

– Да знаю, знаю, у Успенского. Смотри, сала с собой не забудь, дабы заплатку опосля моей нагайки смазывать... – И под новый взрыв хохота Дарташов поправил на груди перевязь с саблей, и озорно подмигнув Опанасу, гордо удалился.

Ворота были уже близко, но искомой черной тени за ними уже, увы, не было. От досады прикусив губу, Дарташов скучающей походкой подошел к самой крайней во дворе казачьего стана кучке казаков, в центре которой находился Амвросий Карамисов.

Надо сказать, что городской казак Амвросий Карамисов, по прозвищу Карамис, имел довольно-таки непривычное для донского казака происхождение.

Как-то в царствование еще царя Василия Шуйского, в самое, что ни на есть для Руси Смутное время, ногайская орда Кара-Гильдей-хана (двоюродного брата хана Бехингера), занимаясь своим привычным делом, а именно, грабя все, что только можно было ограбить, промышленяла на Волге, успешно конкурируя с шарпальничавшими там же казачьими ватагами. И вот как-то по весне, верстах в ста повыше Астрахани, ногайцы смогли выследить царский караван, важно идущий под красными *орлёными* парусами вниз по течению к *Хвальнскому морю*. Ну а раз уж выследили, то, естественно, и захватили, после того как в вечером царские челны неосмотрительно пристали на ночлег к заросшему густым камышом волжскому берегу.

Среди прочей добычи, доставшейся ногайцам, оказалась и жена «аглицкого» посла, плывшая на том же караване со своим мужем куда-то в Персиду, по неведомым дипломатическим делам туманного Альбиона. Сам посол тоже достался ногайцам, только никакого интереса для них он уже представлять не мог, поскольку из его горла, смяв кружева стоячего рифленого воротника, торчала длинная ногайская стрела, выпущенная меткой рукой самого Кара-Гильдей-хана. При этом жена убиенного посла, согласно степному, восходящему еще к ясе Чингиз-хана закону, стала законной добычей Кара-Гильдея. И поскольку была она женщиной очень миловидной, дебело-холеной и по не-нашенски опрятной, то последний этому обстоятельству весьма даже возрадовался.

Будучи настоящим степным аристократом и являясь прямым потомком Чингиз-хана, Кара-Гильдей, долго не раздумывая, приказал своим *нукерам* прямо посреди места схватки быстро поставить свою походную юрту. Куда, изрядно хлебнув кумыса, он с достоинством и удалился со своей новой ясыркой, не обращая никакого внимания на ее крики и мольбы на незнакомом ему языке...

Холеная английская леди чингизиду весьма понравилась. Причем настолько, что, выйдя из юрты и воссевши перед ней по-азиатски с пиалой кумыса в руке, он, вяло прислушиваясь к раздававшимся из-под юртовой кошмы рыданиям, даже предался размышлениям о дальнейшей судьбе заморской ясырки, чего, надо сказать, обычно в аналогичных случаях никогда не делал. Проявляя невиданный гуманизм и этническую толерантность, хан даже стал подумывать на тему того, что может стоило бы, привезя в родной улус эту иностранку, оказать ей великую честь, назначив ее не просто наложницей (это уж, само собой разумеется), а взять да и сделать её своей женой...

Вон у него их... всего-то ничего, не то двадцать восемь, не то тридцать три... точное число уже как-то и позабылось. Так пусть и эта белобрысая верблюдица тоже будет пастись у его юрты, то бишь жить у него в гареме на радость Кара-Гильдею и на зависть двоюродному братцу Бехингеру...

И к какому именно решению пришел бы Кара-Гильдей-хан, посиди он в томной истоме с пиалой кумыса в руке еще некоторое время у порога юрты с рыдающей англичанкой, так и осталось навсегда загадкой. Потому как в решающий момент его размышления были прерваны самым кардинальным образом, а именно – меткой пулей, выпущенной в ханский лоб чуть ниже тубетейки из дальнобойной казачьей пищали.

Как оказалось, не только ногайцы выслеживали столь лакомый кусок, коим в те времена государственного безвременья являлся царский караван. Четыре казачьих *струи*, возглавляемых лихим молодым атаманом Николкой Тревинем, тоже тайно следовали за ним от самой донской переволоки, умело хоронясь дальше расстояния прямой видимости. И так же, как и ногайцы, они терпеливо выжидали удобного момента с весьма даже определенной целью...

И вот этот долгожданный момент наступил.

За то время, пока ногайцы, легкомысленно не выставив караула, заботливо собирали добычу, хозяйственно снося с царских челнов все мало-мальски ценное к ханской юрте. И пока сам Кара-Гильдей-хан, с присущим ему тактом и дипломатией, занимался укреплением международных отношений с представительницей Британского королевства, казачьи струги, воспользовавшись наступающими сумерками, смогли незаметно подкрасться и пристать к берегу чуть выше по течению.

Будучи в деле захвата караванов не меньшими профессионалами, чем их конкуренты по бизнесу ногайцы, казаки тайно высадили десант, лично возглавляемый атаманом Тревинем, и, демонстрируя завидную слаженность действий, быстро охватили ногайский стан в жесткие клещи. При этом сами казачьи струги, ведомые ясаулом шарпальной ватаги – молодым и донельзя лихим Дарган-Калтыком, под укрытием береговых зарослей, смогли незаметно подплыть к активно разграбляемому каравану на расстояние прицельного ружейного выстрела...

Остальное уже было делом техники. Сначала дружный залп из кустов и со стругов, усиленный рывканьем носового *фальконета*... потом по оставшимся в живых, но растерявшимся от неожиданности ногайцам ударили в сабли...

И уже через пару минут все было кончено. После чего казакам оставалось только возрадоваться, поскольку сегодня они смогли завладеть сразу двойной добычей. Во-первых, ни много ни мало, а цельный царёв караван, что в условиях активно расхищаемого в Смутное время государственного имущества считалось чем-то наподобие восстановления справедливости. Причем караван, доставшийся ватажникам без пролития русской крови, то есть без лишнего греха на душу. А во-вторых, обоз орды самого Кара-Гильдей-хана, действия которого на Волге казаками давно и вполне обоснованно, мягко говоря, не одобрялись. Да вдобавок ко всему ещё и ханская юрта из белой кошмы в придачу.

...Предусмотрительно перезарядив пищаль и переступив через распростертое тело Кара-Гильдей-хана, Никола Тревинь опасно откинул стволом полог входа в юрту. Увидев на хан-

ском ложе рыдающую полуголую женщину хоть в изорванной, но, тем не менее, в не по-нашенски дорогой одежде, атаман понял всё с первого взгляда.

Недаром он был атаманом, и, чай в политесах, как-никак разбирался. Труп пронзенного стрелой аглицкого посланника (чья широкополая шляпа с диковинными перьями уже, озорства ради, красовалась заместо папахи на голове Дартан-Калтыка), а также нерусский облик и иностранная речь женщины, – все подсказывало ему, что дело пахнет международным инцидентом, а то и серьезным дипломатическим скандалом.

А может, и не подсказывало... Да и вообще, ему – донскому казаку начала семнадцатого века, откровенно говоря, было глубоко наплевать на международную политику Московии, которую и политикой-то назвать было трудно. Просто Тревинь, как атаман ватажников, своим природным умом смекнул, что сейчас выгоднее было бы поступить именно так, а может... а может, он по доброте душевной взял да и пожалел бедную женщину, что для того жестокого времени уже само по себе было большой редкостью...

Но как бы оно ни было, захваченную в честном бою англичанку и ее служанку (старую чопорную старуху, на которую так и не польстился ни один ногаец), атаман Тревинь повелел считать не добычей, а освобожденным из татарского плена ясырем. После чего взял их на казачий струг в качестве гостей.

Все лето шарпальничали казаки атамана Тревиня по Волге и Каспию, и как-то недосуг им было заходить в города русского царя. Даже Астрахань всегда обходили ночью по многочисленным волжским протокам. Потому все лето, проклиная себя и эту варварскую страну, вынуждена была мотаться с ними и жена убиенного аглицкого посланника, моля своего англиканского бога о ниспослании ей скорого избавления от этой дикой, не то Казакии, не то Московии. А тут еще... в общем, сначала ЭТО с ужасом обнаружила она, а к концу лета уже и все казаки знали, что была англичанка «чижолоя», или дипломатично говоря, леди оказалась в положении...

А всё потому, что бравый Кара-Гильдей-хан, настоящий чингизид, перед самой кончиной с блеском успел свершить свое ханское дело. И о том, что это был именно он, а не достигший при жизни более чем зрелого возраста её законный супруг – британский виконт, виконтесса нимало не сомневалась.

Таскать за собой беременную бабу казакам было уже ну совсем не с руки, а бросать её на произвол судьбы посреди Дикого Поля и вовсе не по-христиански. И поскольку у казаков, относительно женщин, поэтические коллизии насчет «с челна да в набежавшую волну» действительности не соответствовали, то вернувшись по осени на Дон, Никола Тревинь пошел на зимовку не в донские низовья, а в более цивилизованные верховья. В те края, которые казаки издревле называли Червлёным Яром. То есть в земли Воронежского воеводства. Тем более что в Воронеже и богатый дуван можно было выгодно продать, и припасов закупить.

Вот так и оказалась вдова посла Великой Британии, английская виконтесса и просто леди, будучи беременной потомком Чингиз-хана, в славном русском городе Воронеже. Воевода тамошний слыл человеком по тем временам весьма образованным, хотя даже он языком аглицким не владел, а толмача с английского на русский, естественно, так и не сыскал (да и чтобы он в Воронеже-то делал?). Но тем не менее, отправив в Московский Посольский приказ соответствующую отписку, столь неожиданно попавшую в Воронеж иностранную подданную, воевода, проявив человеколюбие и широту державного кругозора (хрен её знает, что за птица такая) всё-таки приютил и дал ей возможность благополучно разрешиться от бремени.

После чего виконтесса первой оказией в Москву вместе со своей служанкой и укатила, чисто по-пуритански оставив ребенка как свидетельство своего позора на попечение этих нецивилизованных и непонятных русских. Мол, раз ваше оно, то вы с ним и разбирайтесь...

В Москве, тем временем, уже вовсю хозяйничали поляки и прочие европейцы наемнического толка, среди которых нашлись и персоны добже разумеющие аглицкую мову. Так что

правдами и неправдами, но виконтессе все же удалось добраться до туманных Британских островов, где вдова убиенного на дипломатической службе лондонского виконта вторично вышла замуж, на этот раз за скромного эсквайра из Девоншира. Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила написанию мемуаров о своих романтических приключениях в дикой варварской стране, которые, правда, ввиду отсутствия живости пера, особо никто не читал. А про рождение же ребенка – потомка английских виконтов и чингизидов – бывшая виконтесса, а ныне жена скромного девонширского эсквайра дипломатично умолчала и судьбой его никогда не интересовалась.

Надо сказать, что казачья ватага, пришедшая в Воронеж с Николаем Тревинем, отдохнув и набравшись сил, решила разделиться.

При этом меньшая её часть, с атаманом Николаем Тревинем во главе, пожелала остаться на зимовку в Воронеже, временно записавшись в городовые казаки. А большая же часть казаков, вместе с ясаулом Дартан-Калтыком, примкнула к объявившемуся в южнорусских землях и входящему в силу атаману Заруцкому. Под его командой они и отправились попытать счастья в Московию, где в это время, после семибоярщины и Василия Шуйского, начали разворачиваться весьма интересные для лихих и вольных казаков деяния, связанные с очередным Лжедмитрием.

Но вернемся к рожденному в Воронеже аглицкому виконту татарского происхождения. К счастью для него, пусть и дика Рассея в глазах просвещенных европейцев, но на то она Русь сердобольная матушкой испокон веков и зовется, что сирот своих на её земле бросать не принято.

Потому рожденный в казачьей среде мальчонка, в ней же и остался. Мало того, на его содержании, по просьбе, официально вынесенной Тревинем на Круг, ему, как будущему казаку, даже была выделена доля добычи из общего Дувана. Потом эта доля была передана вдове одного городского казака, сложившего свою буйную головушку на русской службе, но успевшего перед тем обзавестись в Воронеже женкой и хатой. Жалостливая казачья вдова после смерти мужа занялась богоугодным делом – брала себе в дом казачьих сирот и на казачьи же пожертвования их и возвращала, исправно поставляя для службы в городских казаках своих отроков после их возмужания.

Сын британской виконтессы и Кара-Гильдей-хана в православии был крещен Амвросием. Но над его прозвищем (или тем, что впоследствии станет фамилией) казакам пришлось немало поломать свои чубатые головы. Ломали, рядили, но все же придумали. Вспомнили, как служанка, лопоча с прищипением по-своему, часто называла англичанку: «Мисс-с-с... мисс-с-с...». Значит, ее какой-нибудь Миссой, а проще говоря, Миской и прозывали, логично рассудили казаки, не вдаваясь в тонкости заморской речи. Имя же отца мальчика для них было известно очень даже хорошо – это был тот самый Кара-Гильдей-хан. Так что не мудрствуя лукаво, взяв первую часть татарского имени отца «Кара» и соединив его с аглицким именем матери «Мисс» (как они его считали), казаки получили пригодное для казачьего потребления и даже вполне благозвучное прозвище – КАРАМИС.

Еще с отрочества Амвросий Карамисов стал отличаться от своих сверстников. Вроде бы был как все, вот рос таким же сорванцом и забиякой, как оно и положено казачонку, но только с малых лет стал он с охотой захаживать к церковному диакону, который по доброте душевной обучал казачьих мальчишек грамоте. Причем Амвросий учился именно с охотой, в то время как большинство его сверстников одолевало книжные премудрости все больше из-под розги...

На удивление, быстро одолев грамоту, стал Амвросий и различные церковные книжицы почитать да при этом ещё и размышлять о благолепии монашеской жизни. И все шло к тому, чтобы по достижении возраста инока, он должен был принять постриг и стать монахом. А там глядишь, при его благочестии и прилежании и до игумена путь открыт, а то и...

И быть по сему, если бы еще не одно обстоятельство. Дело в том, что наряду со страстью к книгочтению, с раннего отрочества у Карамиса проявилась еще одна всепоглощающая страсть – страсть к стрельбе из лука. К делу, в общем-то, для будущего казака весьма даже полезному, так как луки со стрелами, несмотря на наличие огнестрельного вооружения, в Диком поле семнадцатого столетия все еще продолжали оставаться весьма эффективным и грозным оружием.

Кроме того, почти каждый казачий мальчонка свою воинскую учебу начинал именно с них. С тем, чтобы, вволю настрелявшись из лука, и тем самым набив себе руку и глаз, казаченок мог постепенно перейти к стрельбе из пистоля, а затем и из пищали. Причем перейти с превеликой охотой, поскольку это вело его вверх по ступенькам становления воинского искусства, и делало как бы чуточку взрослее.

Но вот только Карамис переходить к пистоям наотрез отказался. И напрасно пожилой казак, обучающий молодняк премудростям казачьего боя, совал ему в руки заряженный пистолет, показывая на надетую на плетень тыкву. В ответ маленький Амвросий взял лук и, практически не целясь, к изумлению дядьки и своих сверстников вогнал стрелу точно в возвышающийся над тыквой черенок, намертво пришилив присевшую на него бабочку. После этого от него с огненным боем отстали, и Карамис смог отдаваться своей страсти к лучному делу целиком и полностью, оставляя время только на книгочтение.

Так и рос он, ежедневно бегая с колчаном и луком за спиной и книгой подмышкой. Уходя с утра за крепостную стену в уединенное место, благочестиво помолившись Богу и начитавшись вволю, он потом мог до самой вечерни не покладая рук стрелять, стрелять и стрелять...

Причем стрелял он из всех возможных и невозможных положений. Стоя, лежа, сидя; бегом; ползком и даже в прыжках и кувырках. Когда же Амвросий сел на коня, то стал стрелять и с него. Стрелять вперед, стрелять по-скифски назад, по-татарски из-под брюха, на тихом ходу, на быстром скоку... и так все отрочество. Тем же самым он продолжил заниматься и после поступления на казачью службу. Видно, именно таким вот образом сказывалась в нем кровь Кара-Гильдей-хана, непревзойденного в Диком Поле лучника, заслуженно носившего за свое мастерство почетное, уходящее корнями ещё в далекое монгольское прошлое звание *мэргэна*.

Возмужав и получив казачье воспитание, Амвросий Карамисов, которого как потомка Чингиз-хана в ордынском улусе с распростертыми объятиями явно никто не ждал, а в далеком британском Девоншире и вовсе позабыли, выполняя предначертание судьбы, поступил на русскую казачью службу.

При этом внешность Амвросий имел весьма примечательную, если не сказать, что импозантную. И хотя при своем среднем росте, телосложения он был далеко не могучего, а скорее хрупкого и даже изящного, тем не менее, в каждом его движении сквозила хищная грация элегантно подкрадывающегося к добыче барса. И окружающие, особенно представительницы прекрасного пола, эту элегантность весьма ценили, зачастую вместо изобилующей вокруг богатой мужской стати, отдавая свою дамскую благосклонность именно ей...

Одевался же Карамис всегда непритязательно и даже с легким налетом аскетизма, предпочитая вместо каких-либо щегольских облачений, без всяких затей носить форменный казачий чекмень, да ещё и по-монашески перетянутый в осиной талии простой веревкой. Вместо разухабистых, подчеркивающих вольный казачий характер шаровар, Амвросий любил носить узкие порты, перехваченные до колен, идущими вверх от татарских чедыг ремешками. И при этом вся его более чем скромная одежда всегда отличалась от одеяний сослуживцев не особо свойственной казачьей братии чистотой и опрятностью.

Но одежда одеждой, а всё же особое внимание, прежде всего, обращало на себя его лицо. Оно действительно было для русского общества непривычно и тем самым откровенно... красиво. Во всем облике Карамиса так и сквозило причудливое переплетение рас и цивилизаций, и надо сказать, что необычное сочетание крови английских и татарских аристократов, которые,

можно было с уверенностью гарантировать, никогда ранее кровосмешения не допускали, дало весьма самобытный результат.

Например, на челе Амвросия самым невероятным образом уживались породистая узколицость истинно британского джентльмена, с... легкой татарской скуластостью. Да причём таким образом, что последняя нисколько лица не портила, а скорее наоборот, придавала ему некую, столь нравившуюся женщинам, экзотическую пикантность. На типично английской, природно-белой коже лица, под бархатистыми, сросшимися на переносице черными бровями находились не потатарски раскосые, а скорее по-восточному миндалевидные глаза, совершенно неожиданно имевшие холодновато-зеленоватый цвет, свойственный морским просторам туманного Альбиона. Причём в тот момент, когда Карамис недобро прищурился, например, прикладывая щекой к натянутой тетиве лука, выражение его холодных глаз становилось поразительно похожим на рысье, и тогда ничего хорошего тому, на кого оно было направлено, не ожидалось...

Нос Карамиса был по-английски тонок, но в то же время по-татарски короток и с легкой, свойственной всем Гильдеям горбинкой. Чувственные английские губы обрамлялись узкими полосками черных усиков, спускающихся вниз от уголков рта и переходящих на подбородке в легкую бородку, с идущей от нижней губы узкой полоской. Щеки же Амвросия от растительности были свободны. Его льняные светло-желтые волосы совсем не по-казацки ниспадали на плечи прямыми длинными локонами, разделенные посредине головы четким, перехваченным *начельем* пробором.

В общем, имел наш Амвросий внешность, и надо сказать, не лишённую основания репутацию того, кого через пару столетий назвали бы дамским угодником. Но в те, еще лишённые шарма и европейского лоска времена, современники могли бы назвать его совсем по-другому. Могли бы, но не называли, справедливо опасаясь в ответ получить суровый и многообещающий рысий взгляд холодных глаз прирожденного воина.

А в том, что это был именно воин, сомнений ни у кого, даже при всей элегантности Амвросия, не возникало. За спиной Карамиса всегда висели полный стрел колчан и *саадак*. Причём саадак, в котором заботливо покоился дальнобойный пластинчатый лук из оленьего рога, искусство изготовления которого было вычитано Амвросием из одной старинной книги, посвященной секретам воинского мастерства скифов.

На голове Карамиса вместо традиционной казацкой шапки обычно красовалась небольшая аккуратная *мисюрка*, венчающаяся, как у настоящего чингизида, пером кречета.

Обязательной для любого казака сабли на левом боку Карамиса не было. Вместо нее с кожаной перевязи свешивался прямой меч *кончар*, имевший вместо перекрестья круглую гарду и предназначенный исключительно для нанесения колющих ударов. Дело в том, что по своему внешнему виду, рожденный на самом что ни на есть Востоке кончар отдаленно напоминает европейскую шпагу. Именно это обстоятельство и сказалось на подсознательном уровне сына британской виконтессы, где, слившись с предпочтением сына татарского мэргэна к колющему варианту боя, оно и послужило решающим доводом при выборе столь специфичного оружия.

И вот сейчас, в тот самый момент, когда Ермолайка с такими перипетиями всё-таки пробрался к выходу из казацкого стана, непосредственно около самих ворот, среди группы молодых, розовощеких и буйно-чубатых казаков стоял Амвросий Карамисов, небрежно положив свою изящную ладонь на точёную рукоять кончара. Рассказывая молодёжи захватывающую историю про боярышню, белошвейку и открытое окно опочивальни, Карамис машинально снял с головы мисюрку, и тут из нее на землю белой птицей выпорхнула, видимо, загодя спрятанная там от лишних глаз... *ширинка*...

Да, да, именно так – ширинка... Поскольку в те времена на казацком языке, подобным неблагозвучным образом называлось не общеизвестная и весьма пикантная часть мужского туалета, а всего лишь самый банальнейший носовой платок.

Делая вид, что ничего особого не случилось, и как ни в чем не бывало продолжая рассказ, Карамис, как будто случайно, накрыл лежащую на земле ширинку носком своей чедыги. В этот момент наконец-таки достигший ворот, но уже не заставший там своего черного врага и потому чрезвычайно этим обстоятельством раздосадованный Ермолайка, волей случая оказался рядом с Карамисом и потому краешком глаза уловил плавное падение ширинки.

Сызмальства приученный поднимать с земли всякое маломальски стоящее добро Дарташов нагнулся к ноге Амвросия и вытащил злополучную ширинку у него из-под носка чедыги. Не глядя на Карамиса, он понуро протянул ему платок и уже вознамерился было удалиться восвояси, дабы в одиночестве обдумать свою нелегкую долю, но не тут-то было...

Демонстративно заложив за спиной руки, Карамис отвернулся от протянутой ему ширинки.

– На, имай, твоя же, – недоуменно произнес Ермолайка, тыча рукой со смятой ширинкой в грудь Карамиса.

– Убери от меня свою портянку... – послышался в ответ приглушенный и не сулящий ничего хорошего голос Амвросия.

– Ну-ка, ну-ка, дай-ка позреть, – взял ширинку из рук Дарташова стоящий поодаль Карамиса казак со смешливым взглядом и, поднеся ее к глазам, с нескрываемой иронией в голосе продолжил:

– А ведь напраслину ты зараз, Амвросий, глаголешь. Никакая эйто не портянка, а самая что ни на есть бабская ширинка... Но вот токмо отчего она есть бязевая, а не шелковая али аксамитовая? Да еще и простым крестиком, а не кружевом шитая? Боярышни такие уж точно не носят, а вот белошвейки... так те да... Самая что ни на есть для них утирка...

И с этими словами он, нарочито замедленным движением, засунул край ширинки за веревочный пояс, так и застывшего со сложенными за спиной руками Карамиса. После чего окружавшие Амвросия слушатели, уловив только им понятное несоответствие между выслушанным рассказом и качеством явно не боярской ширинки, стали, исподтишка бросая на незадачливого рассказчика насмешливые взгляды, потихоньку расходиться.

Дождавшись, когда они отойдут на достаточно далекое расстояние, Карамис резко повернулся к Ермолайке и, как клинок кончара, вонзил в него рысий взгляд своих холодновато-зеленых глаз. При этом его лежащая на рукояти меча ладонь стиснула его так сильно, что на суставах пальцев отчетливо выступила характерная белизна.

– Ты-ы-ы... ну, кто тебя просил... да я тебя за это...

– Да знаю я всё... – устало ответил Дарташов, уже крайне утомленный от обилия произошедших с ним сегодня нелепых ссор. – И про полдень, и про Успенский монастырь... И пошто вы все здесь такие скаженные, что аки *пардусы* дикие на меня кидаетесь?

Но, так и не дождавшись ответа от стремительно отвернувшегося Карамиса, Дарташов обреченно взмахнул рукой и понуро побрел к своей кобыле.

## Дуэль по-казачьи

Основательно подкрепившись в ближайшей корчме и достаточно погуляв по городу, ровно в полдень Дартан-Калтык подошел к стенам Успенского монастыря. Присев на камень посреди расположенного за монастырской стеной пустыря, он достал из ножен саблю и принялся хозяйственно проходиться по ней оселком, время от времени пробуя большим пальцем остроту её лезвия.

– А вот это, паря, ты зазря делаешь... – неожиданно услышал Ермолайка прямо за своей спиной.

Отбросив оселок и моментально сжав в руке рукоять сабли, Дарташов оттолкнулся ногами от земли и свечой взвился над камнем. Умудрившись, еще будучи в прыжке развернуться в сторону голоса, и потому приземлившись с саблей наизготовку уже полностью готовым к бою, он увидел стоящего в четырех шагах от себя саркастически усмевающегося Затёса.

Видимо тот, воспользовавшись увлеченностью Дарташова завораживающим процессом заточки оружия, сумел незаметно для него подкрасться на столь близкое расстояние. Как опытный воин, по достоинству оценив прыжок и мгновенную готовность Ермолайки перейти от безмятежного спокойствия к бою, но, тем не менее, ощущая некоторое превосходство от своего скрытного приближения, Затёс стоял, насмешливо прищунив глаза. При этом пальцы его здоровой руки нежно поглаживали лезвие заткнутого за Кушак чекана.

– Ты тут у нас, сразу видать недавно, а посему законов наших еще не ведаешь. Так вот, хучь и мне самому невтерпеж засадить вот это самое лезвие тебе прямо у между глаз. – С этими словами левая рука Затёса лёгким движением выхватила из-за Кушака чекан, и с чрезвычайной ловкостью прокрутив его между пальцев, тут же, не прерывая вращения, одним слитным движением рукояткой вперед воткнула назад на место. – Токмо я этого сделать никак не могу. И вовсе не потому, что о тебе жалкую. Просто на плаху али на дыбу мне за тебя идтить зело неохота... Чай ты, хоть и дурной, а все ж таки наш, православный. Потому брань с тобой вести будем не до убиения и даже не до покалечивания.

– Эйто как же? – с искренним удивлением спросил Ермолайка, выросший на старинной казачьей заповеди: «саблю вынул – руби».

– А так, зараз зришь мой чекан, – с этими словами Затес опять выдернул из-за Кушака топорик и поднес его к лицу Ермолайки. – Так вот бить тебя я буду им токмо обушком. А зришь в обушке отверстие с резьбой? Так это я из него гвоздецо-то вострое загодя вывернул, дабы ты, дурень козлявый, живым опосля моей науки остался, а мне за тебя к палачу не попасть. Уразумел?

– Ага... – ответил Ермолайка, – раз так, то тады и я тебя за «козля-вого», али по-нашему, по-казачьи, за «КацапОГО» всего лишь нагаечкой отстегаю... – и с этими словами Дарташов протянул левую руку себе за спину, откуда Затёсу была видна только *махра* и *долонь* спрятанной там нагайки.

– Погодь, успеем еще. Зараз мои сотоварищи подойдут, они нам и посвидетельствуют в случае чего, а вот, кстати, и они, легки на помине...

Со стороны реки Воронеж, вдоль каменной монастырской стены, к стоящим друг напротив друга в весьма недвусмысленных позах Затесу с Ермолайкой, решительным шагом приближались Опанас Портосенко и Амвросий Карамисов. На голове Карамиса была надета мисюрка с прилбицей, а на ногах Опанаса, поверх шелковых штанов красовались стальные *бутурлыки*. Видимо, каждый из них зря рисковать не захотел, и потому в предстоящем бою решил оборонить доспехом то, что для него было наиболее дорого. При этом для Карамиса, как для будущего игумена монастыря, самым дорогим, естественно, оказалась голова, а для Опанаса – нежный шёлк шароваров...

– Ну, вы, братцы, и даёте... – озадаченно протянул Ермолайка.

– Не бойсь, они казаки добрые и с понятиями. Драться же ты токмо со мной будешь, они не влезут, – твердо произнес Затёс.

– Да я не к тому, пушай и лезут, токмо по очереди, диковинно то, что они вдруг твоими друзьями оказались...

– А что ж тут диковинного-то? Всё воеводство об том ведаёт, что мы – троица бузотёров, не разлей вода. Ежели иде один, то и два иных там же, обязательно за други своя стоят.

– Ух, ты... вот здорово-то... – с неподдельным уважением отметил Ермолайка. – Здорово то, что вы бузотёры такие дружные и казачьей заповеди «за други своя» придерживаетесь. Но дивлюсь я не этому. Уж и сам не пойму, пошто так оно получилось, токмо судьбина моя распорядилась тако, что опосля тебя суждено мне биться и с Портосенко, и с Карамисом. Хотя хулы и злобы я на них да и на тебя, ежели по сердцу сказать, особо и не держу...

– Так ты что ж, – подал голос, подошедший Карамис, – никак съехать с ответа желаешь? Так нет ничего проще. Повинись перед нами, сыми шапку аки холоп, поклонись челом и ступай себе с Богом на все четыре стороны...

При упоминании холопского поклона глаза Ермолайки гордо сверкнули.

– Не бывать сему, чтобы казак шапку ломал и челом кланялся перед кем-то, окромя, разве что Бога и Войскового Круга. Так что, казаки, холопского челобитья зараз от меня не ждите, а словами же пред вами еще раз молвлю, что зла и хула я на вас в сердце не держу, а засим... Биться так биться, стало бы и быть по сему... – после чего Дарташов снял папаху и трижды перекрестился на монастырскую церковь. Затем с достоинством водрузил шапку на голову и выхватывая из-за спины нагайку, задорно крикнул Затёсу:

Ну, иде ты там со своими чеканами... ежели с одной рукой сдюжишь биться, то выходи на брань честную...

– Не твоя печаль, не бойсь, сдюжу. Я же что правой, что левой рукой одинаково володею, – степенно отвечал Затёс, после чего еще раз прокрутив чекан между пальцев, развернул его обушком вперед и, взяв наизготовку, сделал шаг в сторону Ермолайки.

Видя это, Дарташов, разминая руку, с легким свистом прокрутил нагайкой восьмерку перед чеканом Затёса...

– Эй, там, казаки, бузотёры чубатые, да вы никак побиться собра-лись, а аке же тады бысть с воеводиным указом о воспрещении поединничать до дня святой Троицы? – неожиданно послышался от угла монастырской стены ехидный голос, с характерным московитским говором.

Разом повернув головы в сторону голоса, казаки, с немалым для себя огорчением, увидели весьма безрадостную картину. Перекрывая путь с монастырского пустыря, от стены до начала склона, нестройной цепью выстроилось около десятка стрельцов Ришельского разряда. Воинственно опираясь на бердыши, они стояли в своих ярко-красных *котыгах*, с превосходством силы насмехаясь над попавшими впросак казаками. Из-под их вызывающе надвинутых на лоб шапок так и сквозили змеиные ухмылки, а лицо стоящего во главе стрельцов сотника Охрима Жусимурзина даже не расплылось, а просто растеклось в довольной улыбке, придавая лицу москвитина ни с чем не сравнимую азиатскую плосколицость.

Вообще-то, будучи происхождением из Касимовских татар, да еще из рода мурзы Жусака Охрим, как и его предки в третьем поколении, был крещённым и обрусевшим настолько, что ничего татарского в нем уже, вроде бы, и не оставалось. Однако так только казалось, и зачистую, в минуту гнева или веселья, нутро татарское мурзы вылезало наружу, как облупившуюся краску стравивая с себя внешнюю шелуху московитской полуевропейской цивилизации. И своим родовым прозвищем «Жусак», да еще непременно с приставкой «мурза» Охрим очень гордился, предпочитая, чтобы в быту и на службе его именно так, как и во времена Орды и величали. При этом в официальных же документах, имя стрелецкого сотника писалось исклю-

чительно в русской транскрипции, становясь из откровенно татарского «Жусак-мурзы», нейтральным «Жусимурзиным», что автоматически предоставляло определенные возможности. Например, открывало виды на получение служилого русского дворянства...

Кроме того, был сотник Охримка весьма заядлым и самым вреднейшим участником всех казачье-стрелецких потасовок, поскольку драться, несмотря на свой начальственный чин, умел преотлично и по праву слыл первым забиякой. А тут такой случай представился...

– Та-а-к... ага... нарушаем значит... Оно ж известно, вам бузотерам чубатым и воеводские указы всегда нипочем. А завтра, глядишь, и супротив государя-батюшки какое злодейство умыслите, а можа уже и умыслили? Ась? – Начальственно приосанившись, и выпятив вперед свой немалого размера живот с заткнутым за пояс пистолем, перешел на приказной тон Жусак-мурза. – В обчем, неча нам тута с вами возжаться, скидайте своё оружие наземь и следуйте за нами.

– Это куда ж ты нам следовать прикажешь, к Модеске Ришелькину, что ли? – Спросил, иронически вскинув бровь Затёс.

– Не «к Модеске», а к думному дяку Модесту Зорпионовичу Ришельскому-Гнидовичу, а за хулу к государеву мужу, ты Затёсин, отдельно ответишь.

– Ну, что, атаманы-молодцы, деять станем? Повернув голову вполоборота к своим друзьям, но в тоже время не сводя глаз с ришельцев, спросил Затёс. – Их вместе с Охримкой числом девять будет, а нас всего-то трое казаков, да и то один раненый...

– Погодь... – прервал Затёса Дарташов, – неверен твой счёт, какое «трое», кады казаков здесь четверо обретається? Пушай я пока на русской службе еще и не состою, и зараз на мне нема чекменя городовика, но поелику рожден я на Тихом Дону вольным казаком, то по Донскому обычаю должён я в час опасности выступать «за други своя». То бишь стоять вместих с братами-казаками супротив обчих ворогов. Так что зараз нас четверо, братцы...

– Ну, как, бузотёры, что на это кажете? – и Затёс вопросительно посмотрел на своих товарищей.

Дужэ добрэ кажэ донэць – кивнул головой Опанас и положив свою огромную ладонь на рукоять оглобушки, вполголоса прогудел: «За друзи своя»...

– «За други своя» – вторил ему Карамис, положив руку на рукоять кончара. – А каков ты в рати будешь, такожде шустрый ако на языке, то сё мы вскорости удостоверимся...

– «За други своя» – как бы подводя итог, произнёс Затёс и рукой с зажатым чеканом слегка коснулся Ермолайкиного плеча.

– Эй, бузотёры, чаво вы там шепчетесь, аль взаправду заговор супротив государя замышляете? Так вот, послушайте таперича меня. Вот ты, Карамис, вельми грамотен и в законах сведущ, також поправь меня, ежели я, паче чаяния, вдруг неправду проглаголю...

Понеже воеводский указ вы уже явственно нарушили, тут и спору нема, то таперича неподчинение моему указу для сих нарушителей будет уже явным татьством считаться. А супротив татей, чай сами ведаете, нам служилому люду при исполнении находящемуся, надлежит быть по всей строгости. Так что сейчас я зачну счёт до трёх, опосля которого обязан буду применить супротив вас – татей воровских – оружейную силу...

При сём, по судебнику Иоанна Грозного, я имею право бивать вас оружно до полного обезвреживания, а вы же при сём по закону ответствовать можете токмо бескровно. А усё потому как, что ежели кто из моих служилых людишек, при задержании татей буде убиён али покалечен, то тати те подлые, тады из разряда воровского люда уже бунтовщиками государевыми считаться будут. А для государевых бунтовщиков у нас сами ведаете, исход един... Сначала дыба в разбойном приказе, а опосля плаха на площади, а имущество всё в казну...

Так что считаю, раз...

– А ведь прав он Жусимурзин, по закону государевому, именно так оно и получается. Вот токмо подчиниться и сдаться, братцы, мочи нет... – сказал Карамис и, прикинув расстояние до ришельцев, вопросительно взглянул на Портосенко.

– Два...

– Такого ще нэ було, щоб козаки москалям, як ягнята покирливи, бэз бою задавались, – пробурчал в усы Опанас, и как бы в невзначай положил обе руки на застёжки оглобушки.

– Ну, что ж, бузотёры, всё ясно – заключил Затёс. – Как я погляжу, зараз чести казачьей никто из нас ронять не намерен... А посему предлагаю: оружие не класть, а стать, как оно завсегда у нас водится, боевым уступом. Рать со стрельцами принять и биться бескровно, как ежели бы это была обычная шутейная стычка, а там... поглядим еще... И да хранит нас Все-вышний. Карамис... начинай...

– Три...

Надо сказать, что будучи фанатичными приверженцами казачьего боевого искусства, львиную долю своей государевой службы, в общем-то, достаточно вольной, наши герои с упоением посвящали его совершенствованию и слаженности.

Раза три в неделю, уходя по служебному наряду нести казачий дозор за околицу посада, они, пользуясь случаем, всегда сворачивали к расположенному там дровяному складу. Где бузотеры, поставив шкалик водки тамошнему зрителю, имели счастливую возможность всласть поупражняться в воинском мастерстве, причем делая это с чистой совестью и практически без отрыва от царёвой службы.

Опанас Портосенко сначала придирчиво отбирал нужные ему для упражнений поленья. Поленья ему требовались двух размеров: полутора-аршинные, толщиной не меньше четырех вершков и аршинные, раза в два потоньше. После чего он аккуратно, как при игре в гигантские городки, расставлял их по кругу диаметром в три косых сажени, на расстоянии двух локтей друг от друга. При этом Опанас ставил их таким образом, чтобы внизу полено было более толстое и длинное, а сверху на нем стояло более тонкое и короткое.

Расставив бревенчатые фигуры, он становился в центр круга, перекрестясь, доставал свою оглобушку и начинал ей упражняться в древнем славянском искусстве боевого Колоброда, что дословно означает «хождение по кругу». Сам Портосенко при этом оставался на месте, а вот его оглобушка, сверкая и посвистывая широченным лезвием, начинала выписывать всевозможные круги и восьмёрки, да при этом ещё, как живая, перескакивать из одной руки в другую.

Достаточно размяв руки и плечи, Портосенко делал шаг вперед и начинал поражать воображаемого врага. Прodelывая очередную восьмерку, он проводил её так, чтобы она прежде всего сшибала верхнее полено, тем самым как бы вышибая оружие из рук воображаемого противника. После того как верхнее полено, имитируя обезоруживание неприятеля, падало на землю, оглобушка Опанаса с хрустом и трескучим звоном врезалась в нижнее бревно, перерубая или раскалывая его надвое. После чего Портосенко поворачивался к следующим поленьям, и так до тех пор, пока все они не оказывались поверженными и разрубленными.

И уже напоследок оставшиеся целыми более мелкие чурки подбрасывались Карамисом на Опанаса срезом вперёд, а он метко разрубал их на лету, попадая лезвием оглобушки четко по спиленному кругляку. Тем самым Опанас оттачивал точность и силу удара.

Но перед тем, как оказаться окончательно разрубленными, эти же поленья забрасывались Портосенко высоко в воздух. Таким нехитрым приемом Опанас давал возможность своему другу Карамису поупражняться в меткости стрельбы из лука. Как только очередное полено взлетало, раздавался первый звон спускаемой тетивы и короткий свист летящей стрелы. Второй раз звон тетивы слышался, когда полено уже достигало наивысшей точки своего полета, а третий раз уже незадолго до его падения. При этом на землю чурка падала, как какая-то раненая дичь с тремя торчащими из неё стрелами. Причем, рачительно оберегая стрелы и не поз-

воля им обламываться от удара об землю, Карамис каким-то непостижимым образом умудрялся вонзить все три стрелы только с одной стороны полена...

После чего, старательно освободив из поленьев наконечники стрел, Карамис, сменяя Затёса, подходил к сплошной, сложенной из брёвён стене. Там он, завязав себе глаза, вслепую стрелял в деревянную стену, исхитряясь делать это таким образом, что вонзенные в неё стрелы образовывали... буквы славянского или греческого алфавита. Столь причудливым способом Карамис нашел возможность удовлетворять свою страсть к книгочтению без отрыва от воинского искусства.

Затёс же уступал место Карамису у бревенчатой стены, перед тем вдоволь наметавшись в неё чеканов. Причем бросал он их из самых немислимых положений, и всегда лезвия его топорики с приглушенным чмоканьем вонзались в деревянную твердь.

После чего Затёс начинал следующее упражнение. Находил три бревна по росту и толщине соответствующие человеку и ставил их треугольником на расстоянии пяти саженей друг от друга, привалив для устойчивости снизу камнями. Потом Захарий подходил на расстояние сажени к одному из них и становился напротив него с опущенными руками на чуть полусогнутых ногах.

Дальше у потомка Васьки Затёса, начиналось упражнение в родовом искусстве затёсывания. Причем начиналось оно всегда... с пляса.

Потому как именно так, с плясом, на протяжении веков вступали в бой все представители древнего казачьего рода Затёсиных. Сначала хлопок в ладоши, потом два хлопка по груди, затем опять в ладоши, потом по поясу и, наконец, по бедрам...

Внешне это выглядело таким образом, что ни дать ни взять, человек просто вознамерился поплясать, и вот-вот сейчас выкинет коленце или, заложив руки за голову, пойдет вприсядку. Противники Затёсов всегда при этом в недоумении останавливались, и опустив своё оружие, остолбенело смотрели на них как на юродивых. А им того только и надо было, поскольку вместо исполнения присядки и выкидывания коленцев, опустившихся с прихлопами к бёдрам руки, молниеносно извлекали из-за голенищ сапог оба чекана. Да причем проделывали это столь молниеносно, что противник ничего толком и рассмотреть-то не успевал...

Потом руки с чеканами, не нарушая общего ритма пляса, совершали круговое движение от бёдер вверх, после чего топорики летели точно в цель и всегда попадали. Причем, если дело происходило в смертном бою, то тогда по цели они ударяли лезвием, а если в городской бескровной стычке с рিশельцами, то всего лишь чувствительно тюкали обушком.

Так и вёл свой боевой пляс Захарий Затёсин перед поставленными бревнами.

– Раз... – дернувшись всем телом и вроде бы, всего лишь ритмично похлопал по себе ладонями, а два чекана уже торчат в дальних столбах... Опять хлопки, но на этот раз по поясу, и из-под Кушака выхвачены еще два чекана, с которыми Затёс бросается к ближнему бревну. Нанося по нему каскад дробно падающих с обеих сторон ударов, Затёс, оправдывая свое древнее имя, в буквальном смысле затёсывает его со всех сторон, делая бревно тоньше. Только щепки во все стороны летят.

Истончив бревно до толщины жердины, Затёс переходит к следующему, и все повторяется снова.

...Плясовая... броски... затёсывание. И так по кругу, пока бревна стоят, постепенно превращаясь в жерди.

Так и упражнялись они каждый в своем мастерстве, а потом переходили к подвешенному к дереву кожаному мешку с песком, по которому бузотёры поочередно отрабатывали удары голый рукой, совершенствуясь в рукопашном бое. При этом Опанас, совершенно неожиданно для своей комплекции, совершал заканчивающиеся ударами ног головокружительные прыжки, демонстрируя элементы боевого гопака. А Затёс знакомил казаков с чисто русским вариантом

кулачного боя, который практикуется в его родном Тверском уезде под названием Тверской бузы.

Собственно, из-за этой самой «бузы» да еще из-за склонности троицы казаков к различным потасовкам, их «бузотёрами» и прозвали.

Обладая, каждый по отдельности, индивидуальным мастерством, бузотёры выработали совместную тактику действий, позволяющую им в общей битве действовать весьма эффективно и слаженно. И потому на брань они выходили, становясь боевым уступом.

Впереди строя, как главная ударная сила, оглобушкой водил гигантские колоброды Портосенко, задачей которого было максимальное обезоруживание и обезвреживание противника. Справа и чуть поодаль, сажень в трех от него стоял Карамис, поражая противников стрелами на дистанции дальнего боя, и, прежде всего тех, кто целился в Опанаса из огнестрельного оружия. Между Карамисом и Портосенко, примерно сажень в полутора от них, находился Затёс, чеканы которого, прежде всего, прикрывали спину и правый бок Опанаса. А также не давали противнику шанса подобраться вплотную к Карамису, тем самым предоставляя ему возможность как можно дольше вести прицельную стрельбу. Так и сражались три бузотёра будучи на русской службе, делая различие лишь для смертного боя и боя бескровного.

Для смертного боя Портосенко вдобавок к ножным бутурлыкам, одевал на тело еще и пластинчатый *колонтарь*, доставшийся ему при весьма туманных обстоятельствах от одного высокого как ростом, так и должностью москаля, имевшего неосмотрительность заехать на Сечь с какой-то тайной миссией...

Несмотря на долговязый рост, телом своим тот москаль, по сравнению с Портосенко, был далеко не таким могучим. Вот и пришлось Опанасу в очередной раз проявить украинскую смекалку и вшить стальной проволокой по бокам колонтаря вставки из стрелецкого *тегиляя*, да еще, модернизации ради, пришить от него на броню сверху стеганный стоячий воротник.

Полученный таким хитрым образом доспех оказался запорожцу вполне впору, и защитой для него служил достаточной надёжной, позволяя ему в самой лютой сече стоять во весь свой исполинский рост и всласть «Колобродить» оглобушкой, не обращая внимания на отдельные, случайно пропущенные колющие удары. Лишь бы от пули, стрелы Карамиса и дальше столь успешно оберегали, поскольку, если пистолетную пулю на излёте русский колонтарь еще выдерживал, то от мушкетной он уже, увы, был бессилён...

Папаху же перед боем Портосенко всегда снимал и засовывал за пояс. А всевозможных шеломов запорожец вообще не уважал, справедливо полагая, что от пули они всё равно не спасут, а холодным оружием достать его голову на такой высоте, да еще когда в его руках оглобушка, дело весьма даже затруднительное. Вот и развеялся впереди бузотерского боевого уступа, как бунчук впереди казачьего строя, оселедец Опанаса, красивой волной ложась на стоячий воротник колонтаря.

Ну, и естественно, что в лютой сечи Портосенко во всю реализовывал недюжинные тактико-технические данные оглобушки, помноженные на неординарность длины и силы своих рук. Уподобляясь гигантской мясорубке, он беспощадно сокрушал защитные доспехи вместе с их владельцами, превращая всё это в единое кровавое месиво, из которого бесформенными обломками торчало то, что раньше называлось оружием. Для бескровной же шутейной схватки водил свои колоброды, а также наносил удары Опанас всегда очень аккуратно, можно даже сказать, что нежно, держа оглобушку вперед исключительно елманью или плашмя.

Карамис для смертного боя, кроме мисюрки с прилбицей, обычно надевал на чекмень легкую байдану и стрелял в полный натяг тетивы калеными стрелами. В ближнем же бою, отбросив лук, он с превеликим проворством фехтовал своим кончаром, колющими ударами которого пробивал любой защитный доспех. При этом в бескровном варианте боя, если дело доходило до ближней схватки, то Карамис кончаром не колол, а только рубил. А поскольку

треугольный клинок кончара для рубки ну никак приспособлен не был, то и особого вреда противнику он, кроме синяков и ссадин, ему не причинял.

Для стрельбы же в бескровном бою наш учёный Карамис изобрел особые глиняные, полые изнутри наконечники в виде свистулек, которые он успешно применял вместо каленых металлических, бескровно, но надежно поражая ими противника.

Свистульки Карамиса обладали двумя выдающимися качествами.

Во-первых, они в полете ужасающе, с завыванием свистели, оказывая на супротивника психологическое воздействие. А во-вторых, при попадании ему в лоб, они разбивались в пыль, вызывая только оглушение без всяких сколь серьезных увечий. И поскольку жизнь Карамиса, впрочем, как и любого другого казака, изобиловала всевозможными стычками и схватками, причем какую именно и с кем сегодня ему доведется вести, никто доподлинно не ведал, то в колчане запасливого Амвросия всегда было полно стрел с двумя типами наконечников.

Затёс для серьезного боя как истый русский дворянин всегда одевал блестяще начищенное позолоченное *зерцало*, с патриотично выгравированным на груди двуглавым орлом. При этом голову его, вместо казачьей папахи, украшал шлем *ерихонка* с длинным *яловицом*. Прямо хоть сейчас в Кремль да на парад...

Бился же он, как оно в смертной сечи и положено, лезвиями и клевцами своих чеканов. При этом в шутейной схватке острые, как когти хищного зверя и загнутые книзу клевцы, Захарий предварительно вывинчивал, а чеканы метал только вперед обушками. Ими же он и бил при затёсывании противников, норовя угодить обушками по плечам, локтям и кистям, дабы не пролил ни капли крови, осушить у врага конечности, и, тем самым сделать его неспособными дальше держать оружие. Справедливости ради заметим, что саблю Затёса, как казак и дворянин, тоже применять умел, и когда в силу тех или иных обстоятельств, он её использовал, то делал это довольно-таки успешно. Но при этом своё личное предпочтение потомок Васьки Затёса всё равно отдавал любимым и ни разу не подводившим чеканам.

Ну, а что касается только что прибывшего с Дикого Поля Дарташова, то на Дону он в бескровных боях не только никогда не участвовал, но даже о них и слыхом не слыхивал. При этом, будучи сызмальства обученный искусству казачьего нагаечного боя, Ермолайка вовремя припомнив напутствование отца, своим природным умом смекнул, что сейчас именно для него и место. А потому, незаметно засунув руку за спину, он осторожно вытащил рукоятку нагайки из-за кушака...

– Три! – с визгом прокричал Жусак-мурза, с затаённой надеждой ожидая в ответ услышать звон бросаемого на землю оружия...

Но так и не услышал. Вместо этого бузотеры разом его обнажили, и слаженно перестроились боевым уступом. Причем Ермолайка с нагайкой в руке, действуя исключительно по интуиции, стал на левый фланг по одной линии с Затёсом. Таким образом, уступ превратился в треугольник, на вершине которого стоял Опанас, многозначительно покручивая оглобушкой.

«Дзинь...» – щёлкнула тетива лука по кожаной беспалой рукавичке, одетой на левую руку Карамиса, «фью-ю-ю...фр-р-р...» – пропела стрела со свистулькой... «хлоп...» – раздался звонкий хлопок разбившегося об лоб наконечника. И в облачке глиняной пыли один из рижельцев с глупой улыбкой на конопатом лице, ничего не соображая, грузно осел на землю...

Теперь перед бузотёрами находилось уже не девять, а восемь противников.

Еще дважды успела пропеть свистулька, пока рижельцы нестройно крича, с бердышами наперевес атаковали бузотёров, и к ближнему бою их подошло уже шестеро. Благодаря свистулькам Карамиса трое из девяти стрельцов оказались вне схватки, и теперь они, сидя на земле, очумело трясли головами, с быстро наливающимися на лбах и скулах лиловыми синяками.

Но тем не менее и шестеро оставшихся в строю стрельцов с бердышами в руках и с саблями на боку против четверых казаков представляли собой еще достаточно серьезную угрозу,

хотя при равных условиях боя подобное соотношение можно было бы считать и вполне нормальным. Но только не тогда, когда стрелецкая сторона, в соответствии с юридической казуистикой «о государевых татях», имеет право бить смертно, а адекватно им ответить казачья сторона, не желая получить несмываемое клеймо «государевых бунтовщиков», не имеет права. Это ещё хорошо, что у стрельцов пищалей с собой нет. Впрочем, стрелецкий сотник Жусимурзин пистоль при себе всё же имел...

Первым крикнув «ура» и первым кинувшись было со всеми в атаку, он, пробежав с пяток шагов, умышленно приотстал, тем самым предоставив своему рядовому составу возможность начать бой без него. Сам же Жусак-мурза, заняв удобную позицию с правого фланга, выхватил из-за пояса пистолет и, взведя курок, навёл его на вращавшего своей гигантской саблюкой, как мельница крыльями, Опанаса, целя ему прямо в голову...

Надо сказать, что стрелком из пистоля Жусимурзин слыл отличным, и несдобровать бы Портосенко, если бы Карамис, как всегда, не был бы начеку, бдительно обороняя дальние дистанции поля боя. Заприметив оружие в руках стрелецкого сотника, он, не целясь, щелкнул тетивой и пистоль, выбитый из руки Жусак-мурзы попавшей в него стрелой, отлетел в сторону аршина на два. От удара об землю у тяжелого пистолета произошёл самопроизвольный спуск взведенного курка, после чего раздался оглушительный выстрел, влипивший предназначавшуюся Опанасу пулю прямо в камень монастырской стены.

Да... не зря Портосенко подбрасывал для Карамиса поленья как можно выше, тем самым упражняя его на зоркость глаза и твердость руки...

Тем временем трое стрельцов, коршунами налетевшие на Опанаса, попытались было с налету пробиться сквозь мельницу его колобродов, дабы поразить его укрытую всего лишь расшитой сорочкой грудь своими острозаточенными бердышами.

«Вжи-и-у... – крэк...» – раздался после свиста вращающейся оглобушки треск разлетевшегося от удара на щепки древка одного из бердышей. После чего его обладатель с обломком в руках благоразумно отскочил назад, где, отбросив бесполезную деревяшку в сторону, гневно рванул из ножен саблю. Тем временем второй стрелец наотмашь, сверху – вниз, рубанул бердышом по Опанасу, норовя верхом топора попасть ему в голову...

Лезвие его стремительно приближающегося бердыша, на своем пути, боком встретилось с *голаменью* оглобушки, и увлекаемое ею в свой колоброд, вынуждено было отклониться. Обойдя Портосенко по широкой дуге и не причинив ему ни малейшего вреда, лунообразное лезвие топора вонзилось в землю. Пока стрелец повторно поднимал свой бердыш, изготавливая его для нового удара, оглобушка Опанаса по кругу поднялась вверх, и со всего размаху, плашмя, влипилась ему в плечо. Охнув и осев от боли, стрелец выпустил из рук бердыш, и, держась за ушибленное плечо, покатылся по земле, душераздирающе вопя нечто нецензурное.

«Вжи-и-у... – бум...» – свистнувшая снизу оглобушка выбила бердыш из рук третьего противника и подбросила его, как легкую щепку, над головой Опанаса.

«Хрясь...» – вошедший в раж Портосенко, как при игре в лапту, рубанул по находящемуся в воздухе бердышу, как по «чижику» на лету, и играючи отчленил топорище от лезвия.

Вдруг, в одночасье, оставшись без своего всесокрушающего оружия, стрелец застыл как вкопанный, разинув от удивления рот. Оставлять без ответа подобное ротозейство для Опанаса было бы просто непростительно, и вот он, крутанув над головой вертикальную восьмерку, устремил оглобушку к низу и её елманью подсёк незадачливого ришельца под щиколотку левой ноги. Задрвав вверх подсечённую ногу, тот рухнул оземь, как подкошённый. Впрочем, именно подкошённым, причем в буквальном смысле слова, он сейчас и оказался.

Теперь перед Портосенко остался только один противник, да и тот вооруженный всего лишь саблей. Увидав это, Опанас даже перестал крутить колоброды, а охваченный озорством и упоением схватки, вступил со стрельцом в обычную рубку, стараясь как можно дольше продлить удовольствие боя. При этом он, играясь с азартно рубящимся стрельцом, как кошка с

мышкой, отражал и наносил удары оглобушкой предельно осторожно. Впрочем, не забывая при этом зорко осматривать всю картину битвы и быть готовым в случае необходимости, в мгновение ока завершить бой всего лишь одним метким ударом.

Надо сказать, что Охрим Жусимурзин, являясь каким-никаким, а все же начальством, бердыша с собой, как рядовой стрелец, не носил. Зато кроме пистоля и сабли, в качестве символа своей начальственной власти, он имел новомодный и не так давно зачем-то позаимствованный для Руси западноевропейский *протазан*. Так что, оставшись по воле Карамиса без пистоля, Охримка перехватил заморский протазан половчее и кинулся с ним на левый фланг бузотёров, имея явное намерение зайти к ним с тыла. Тут на его пути и возник Дарташов, держа рукоять нагайки в одной, а конец плети в другой руке...

– Заколю-ю-ю... – устрасяюще вскричал Жусак-мурза и с разгона сделал колющий выпад, целя Ермолайке в незащищенное куяком горло. Ермолайка же, опустив левую руку с концом плети вниз и приподняв правую с рукоятью шальгой кверху, спокойно дождался выпада и, как учил его старый Дартан-Калтык, натянув нагайку, подставил её сбоку под удар. Получившимся мягким боком, он без особых на то усилий, спокойно отклонил смертоносное лезвие протазана от своего горла.

Одновременно с этим Ермолайка провернулся вокруг своей оси, пропуская влекомого инерцией своего выпада противника мимо себя. Разворачиваясь, Дарташов выпустил левой рукой конец плети, тем самым сразу же превратив нагайку из оружия обороны в оружие нападения, и еще не окончив разворот, он, не глядя, хлестнул нагайкой себе за спину. Окончательно же повернувшись, Ермолайка увидел, что его сделанный вслепую удар не пропал даром, и шлепок нагайки, в котором была защита пуля, угодил Жусимурзину в спину, четко между лопаток...

От неожиданного удара по хребту Жусак-мурза, так до конца и не понявший, что же именно с ним произошло, громко вскрикнул, и от резкой боли разжав руки, выронил протазан. После чего закинул голову лицом вверх, он свёл вместе лопатки, и от нестерпимой жгучей боли, дугой выгнулся назад. Стоя лицом к выгнутой спине противника, Дарташов имел прекрасную возможность нанести ему сзади решающий удар прямо в темечко и тем самым одержать убедительную победу. Но пожалев стрелецкого начальника, Ермолайка счёл победный удар излишним.

Вместо этого Ермолайка подошвой своей ичиги подбил Жусакмурзу под правый коленный сгиб и, не убирая ноги, перенес на неё вес своего тела, тем самым заставив противника сложиться в коленях и упасть на карачки. Занеся на всякий случай для удара нагайку и обойдя стоящего на карачках противника, Дарташов ногой отшвырнул лежащий перед ним на земле протазан. Вид поверженного стрелецкого сотника его успокоил. Стоя на коленях и кривясь от боли в спине, тот снял с себя сабельную перевязь и положил её на землю рядом с собой. Восприняв сей жест, как знак изъявления покорности побежденного своему победителю, Дарташов великодушно опустил нагайку и повернулся к Охримке спиной...

Увы, простодушный Ермолайка – этот неискушенный сын вольных степей – еще не ведал всей глубины московитского коварства... Узрев перед собой столь неосторожно открытую спину противника, лицо стрелецкого сотника растянулось в хищном оскале, вмиг сделавшим его похожим на самого что ни на есть татаро-монгола времён Батыева нашествия. Потихоньку вытащив из лежащих перед ним на земле ножен саблю, он, невзирая на острую боль в спине, проворно вскочил на ноги, и что есть силы коварно рубанул сабельным клинком Дартан-Калтыка сзади по голове, для верности целя ему прямо в макушку...

...И на этом предательском ударе, злодейски нанесенном исподтишка, наше повествование вполне могло бы завершиться ввиду безвременной кончины главного героя...

И так бы оно всё и случилось, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что в ниспадающий на плечо Дарташова с верха папахи *тумак* предусмотрительно была вшита стальная

цепочка. Именно она, простая цепочка, и спасла казачью жизнь, приняв на себя предательский удар стрелецкой сабли, заставив её провернуться в руке и соскользнуть... Да и сама меховая папаха, перед тем как слететь с головы, тоже сыграла свою роль в смягчении силы удара. Так что, по счастью, остался Дарташов живым и только слегка оглушенным...

...От полученного удара, а больше всего от обиды за такое неслыханное вероломство, у Ермолайки помутилось перед глазами... Невзирая на раскалывающую боль в голове, крайне взбешенный, он подпрыгнул вверх с разворотом назад. Развернувшись прыжком и оказавшись лицом к лицу с коварным Жусимурзиным, Ермолайка мигом оценил ситуацию. Соскользнувшая с его головы сабля стрелецкого сотника сейчас находилась справа от него и уже угрожающе поворачивалась к нему лезвием, изговорясь для нового удара. А времени для замаха нагайкой у него уже, увы, не было...

И тогда Ермолайка, не мудрствуя лукаво, сделал то единственное, что ему в подобной ситуации оставалось. Совершив всем телом идущее снизу вверх волнообразное движение, он через плечо выплеснул волну в свою опущенную левую руку. Тем самым он уподобил руку плети, что позволило ему практически без замаха, резким подхлестом нанести кулаком удар в челюсть противника.

Лязгнув зубами, Жусак-мурза отлетел аршина на два и бездыханным рухнул на землю, широко раскидав в стороны руки и ноги. Такова была сокрушительная сила казачьего подхлеста...

Лет эдак через двести финал схватки Дарташова с Жусимурзиным с полным бы на то основанием назвали бы победой нокаутом. Но пока, в эпоху от спорта абсолютно далекую, Ермолайка вдруг ясно осознал, что сейчас он остался живым исключительно благодаря навыкам ведения боя голый рукой, которые, оказывается, иногда срабатывают и против вооруженного противника...

Подобрав спасительную папаху с ясно отпечатавшейся от клинка вмятиной, и водрузив её на голову, Дарташов окинул взглядом всё поле боя. Увиденная картина его чрезвычайно порадовала. Охая и стеная, на земле ползали или лежали бездыханными, считая уложенного им самим стрелецкого сотника, уже семеро рижельцев. На ногах оставались всего двое. Да и те, судя по вялости оказываемого сопротивления, видимо, только выжидали удобного момента для бегства.

Портосенко к тому времени уже порядком наскучила затеянная им игра. Видимо, сполна получив удовольствие от боя, он, слегка крутанув Колоброд, легко и непринужденно выбил саблю из рук своего противника, после чего играючи уложил обезоруженного стрельца на землю, громко стукнув его по лбу основанием своего левого кулака. Так что теперь Опанас с осознанием честно выполненного дела опустил книзу оглобушку и, вытирая тыльной стороной ладони со лба пот, с интересом взглянул на Дарташова.

– А ты, молодёць, плэтюганом и справди, ловко володиеш... А колоброды им робить умиешь?

Могу, – ответил Ермолайка, и с уважением взглянув на троих со стопами шевелившихся перед Опанасом, среди обломков бердышей, рижельцев, в свою очередь спросил:

– А как ты вот это содеял? – и безуспешно попытался воспроизвести нагайкой чрезвычайно сложный, мельком увиденный у Портосенко Колоброд. – Обучишь?

– Навчу, а як жеж... – прогудел в ответ Опанас и перевел взгляд на Затёса с Карамисом, продолжавших биться с двумя стрельцами.

– Ну, годи, будэ з них... – и набрав полную грудь воздуха, Портосенко единым выдохом гаркнул:

– Г-г-гэ-э-эть з видсиль...

Громоподобный окрик Портосенко, от которого, как от пушечного выстрела, с гвалтом взвились все находящиеся в округе вороны, двое, до сей поры еще сражающихся рижельцев,

восприняли как долгожданный сигнал к бегству. Здравомысленно рассудив, что раз семеро их со товарищей оказались уже поверженными, то и им двоим сегодня победы на ратном поприще уж никак не снискать, а посему для них куда благоразумней будет ретироваться.

Подобрав выбитые бердыши, ришельцы резво отбежали на полусотню шагов, где, почувствовав себя в относительной безопасности, они начали отважно браниться, строя бузотёрам рожи и наглядно иллюстрируя бранные слова весьма похабными жестами. Вдоволь натешившись, они вполголоса посовещались, и видимо приняв решение о нанесении казакам решительного психологического воздействия, стрельцы дружно, как по команде, повернулись к ним спиной. После чего они разом задрали полы одёжи, приспустили порты и выставили на всеобщее обозрение свои задницы, видимо тем самым (по их мнению) смывая позор понесённого поражения и восстанавливая честь мундира, вернее сказать, стрелецкой котыги. Стерпеть такое уже было невозможно...

«...Вжи-и-и-у... – шмяк...» – свистулька Карамиса ударилась о мягкое место одного из ришельцев и отскочила не разбившись... Пораженный же в зад ришелец истошно завопил благим матом, и путаясь в спущенных портах, спотыкаясь, поскакал догонять своего товарища, который узрев специфическое ранение напарника, благоразумно решил более судьбу не испытывать, а потому резво удалялся с поля боя, прикрывая свой оголенный зад широким лезвием бердыша...

Всё. «Баталия была закончена полнейшей викторией и позорной ретирадой оставшегося на ногах неприятеля», написали бы с претензией на просвещенность в победной реляции следующего столетия. «На том сия рать и прекратилася, опосля нашего побиваху супротивника. А те двое ворогов, которые от нашей длани наземь тако и не полегши, срамно бежали без портов, обнажив аки блудницы своя гузно...» – без всякой претензии на просвещенность и в стиле изложения семнадцатого века мысленно прикинул текст отписки Карамис, которую ему так или иначе, придется сочинять на имя батьки Тревиня.

Подойдя к всё еще не очухавшемуся Жусимурзину, Затёс достал изпод полы чекменя баклагу с вином и, вытащив из неё зубами пробку, стал выливать её содержимое тонкой струйкой в лицо лежащего на спине стрелецкого сотника.

– А вынцэ-то, мабудь, фряжськэ... – втянув воздух ноздрями, со знанием дела сказал Опанас. И увидев, как от пахучей, стекающей по губам жидкости, лицо Жусак-мурзы начало потихоньку шевелиться, сглотнув слюну, добавил:

– Ну буде з нього злыдня, вин и так вже прочумався...

Держась за распухшую после Ермолайкиного удара скулу, Жусакмурза со стоном приподнялся и сел на землю, широко раскинув ноги.

– Ну что, законник хренов, тати мы таперича али как? – спросил его Затёс, предварительно заткнув пробкой баклагу и пряча её назад под сокрушающий вздох Портосенко.

– Не-е-е-а... – глухо промычал Охримка, мотая головой.

– Вот и я об том же гутарю, что никакие мы нынче не тати, а самые, что ни на есть государевы воинские люди. А тебе впоследок мои слова таковы будут: кишка у вас у стрельцов тонка супротив казачьей удали выстоять. А рази оно так, то вдругорядь и не задирайтесь, а не то... – При этих словах брови Затёса грозно сошлись на переносице, и его стальной взгляд, уподобившись острию казачьей пики, уперся в узкие глазные щелки Жусак-мурзы. – А то, вдругорядь и не углядим, что вы тоже русския и православныя будете, а возьмём, да и поступим с вами казачьим обычаем, ако с басурманами...

– Ага, як з басурманами... – жизнерадостно подтвердил Опанас и в подтверждение своих слов чиркнул оглобушкой по верху стрелецкой шапки. Красный бархатный верх, срезанный как бритвой, не загупленным в битве лезвием оглобушки, сломанным цветком упал между раскинутых ног Жусимурзина. И тут же оказался пригвождён к земле, выпущенной с близкого расстояния стрелой Карамиса с боевым наконечником...

Более наглядного представления для Жусак-мурзы о том, как оно в случае чего будет «казачьим обычаем» и придумать было трудно...

После чего казаки, по-хозяйски собрав Карамисовы стрелы, все кроме одной, так и торчащей из красной материи между ног Жусимурзина, гордо удалились.

От Успенского монастыря бузотёры и примкнувший к ним Ермолайка, направились прямой дорогой в кабак, где по старому казачьему обычаю им надлежало достойно спраздновать победу. Благо Войско Донское сейчас было не в походе, и «сухой закон» не объявлялся.

Бузотёров в кабаке давно знали, а потому каждому из них, по его вкусу, предоставили любимую снедь и питье. Так, перед Затёсом поставили цыплёнка с редькой и штоф фряжского вина, перед Портосенко половину жареного поросенка с хреном и четверть горилки, а перед Карамисом постную говядину с петрушкой и скромную ендову с пивом.

Дарташов же, к изыскам русской кулинарии еще не привыкший, пока ограничился остатками своего донского харча, сбереженного им аж с самого Черкаска. Порывшись в седельной сумке, он извлёк из неё еще один штоф хлебного вина, два вяленых донских чебака и добрый кусок копчёной осетрины.

Помолившись перед трапезой и пригубив по первой чарке за здоровье русского государя, бузотёры начали дружно помогать Карамису составлять отписку про прошедшее сражение, наперебой, в лицах, комментируя отдельные эпизоды боя. Отложив в сторону готовую отписку и пригубив по второй, бузотёры обстоятельно расспросили Ермолайку, кто же он такой, откуда будет и зачем сюда прибыл. Получив правдивые ответы и удовлетворившись ими, они, в свою очередь, поведали Ермолайке о том, что, собственно, он уже о них и так знал.

О том, что служат они русскому государю и его здешнему наместнику – воеводе Людовецкому, в городских казаках под началом казачьего головы батьки Тревиня. О том, что они являются друзьями, не разлей вода. И о том, что кличут их тремя бузотёрами, потому что ежели, где какая буза затевается, то они там завсегда первые, да еще потому, что Затёс в своем Тверском уезде бузой как разновидностью кулачного боя занимался.

После четвертой или пятой чарки разговор плавно сошел на колоброды Опанаса, затёсывание Затёса, стрельбу Карамиса и нагаечный бой Дартан-Калтыка, причем каждый норovil их вот здесь же, прямо сейчас, к вящему ужасу кабатчика и продемонстрировать...

В общем, веселье в кабаке затянулось дотемна, а на следующей день бузотёрам, после положенного в таких случаях утреннего капустного рассола, надлежало вместе с казачьей головой Тревинем предстать пред светлыми очами самого князя-воеводы Феропонта Пафнутьевича Людовецкого.

Главного Государевого человека в этих южнорусских краях...

## У князя-воеводы

Легендарное имя Рюрика – того самого, который с легкой руки Нестора-летописца «со всей Русью» был призван Гостомыслом «володеть» нашей «широкой и обильной землёй», в которой (по мнению Гостомысла) «порядка не было» – известно всем. Равно как и то, что из этого в конечном итоге получилось...

И хотя, что же именно имел в виду Нестор-летописец в определении «со всей Русью», до сих пор так и до конца не разгадано, но вот то, что пришедших варягов было не трое, а гораздо больше, факт вполне бесспорный. Поскольку совершенно очевидно, что без крепкой боеспособной дружины Рюрик бы в своих начинаниях «по наведению порядка» никак бы не преуспел.

Так вот в составе варяжской, прибывшей по призыву Гостомысла дружины, оказался и скандинавский викинг Гаральд Людирг из далекого норвежского фьорда, решивший в этом году направить свой *драккар*, вместо традиционного разграбления *Лютециш* в неведомую *Гардарику* (так тогда норманны именовали Русь), да так в ней и осевшего. И если его сын Сигурд, рожденный от викинга и новгородки, считался еще варягом, то викингов внук был уже самым натуральным русским боярином Людом.

Преуспев в достопамятном хазарском походе, за проявленную в ратном деле преданность Руси, боярин Люд был лично поставлен князем Святославом, ни много ни мало, а княжеским посадником в городе Вецке. А уже от Святослава внука – князя Ярослава, бояре Люды, за заслуги перед Отечеством были возведены в княжеское достоинство и получили этот Вецк в свою полную вотчину. Вот и стали они с той поры удельными князьями Людовецкими, и хотя потом, в лихие Батыевы времена, сам град Вецк канул в вечность, будучи разоренным и дотла сожженным татарами-монголами, его бывшие управители все равно остались в числе княжеской верхушки русского государства.

Надо сказать, что про свои скандинавские корни князья Людовецкие предпочитали особо не вспоминать. Вместо того они всячески подчеркивали тот бесспорный факт, что они ведут свою родословную не от кого-нибудь там, а от самого натурального сподвижника легендарного Рюрика. Отсюда Людовецкие делали уже достаточно спорный вывод о том, что, дескать, поскольку их пращур прибыл на Русь на соседнем с Рюриком драккаре, то, следовательно, и они являются почти что ровней правящей на Руси династии...

Впрочем, дальше умозрительных выводов царские амбиции князей Людовецких не простирались и в реальной борьбе за русский престол они никогда не участвовали. Даже в Смутное время вместо попыток узурпаторства трона, они предпочли верноподаннически послужить калейдоскопически меняющимся в Московском Кремле царям-батюшкам, правда, служа им исключительно на самых высоких должностях. Да и вообще, именно на высокие государственные посты, все правители земли русской традиционно Людовецких и назначали, дальновидно позволяя им не столько служить, сколько всласть поцарствовать в своих владениях. Пускай уж эти потомки, как ни крути, а древнего рода, лучше уж себя удельными князьями повоображают вдали от столицы, лишь бы только они своей родовитостью смуту и крамолу во вред царской короне не сеяли.

Так что не зря рядовой викинг из Богом забытого фьорда когда-то приплыл в Гардарику на соседнем с Рюриком драккаре...

Широки и просторны покои в тереме Воронежского воеводы. Не Московский Кремль, конечно, но князю, даже ведущему свой род от соратника Рюрика, здесь жить отнюдь не зазорно. Не напрасно всё воеводство, на целый год перестав исправно платить налоги в царскую казну, старалось, выстраивая для своего высочайшего руководителя приличествующие

его рангу апартаменты (Москва сей крамольный факт, потом простила). Тут было всё необходимое как для достойной княжеской жизни, так и для свершения важных государевых дел.

Под стать терему, князь-воевода завёл и порядки, прямо-таки как при царском дворе, только малость поскромнее. А так тоже, тут тебе и кравчий, и *стольники*, и *постельничии* с *сокольничими*, и, конечно же, княжеские виночерпии. В общем, полный набор челяди, а соответственно и интриг за право быть ближе к княжескому столу, причем как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. Правда, никаких мажордомов, пажей и фрейлин, пока еще в русском государстве не водилось (чай не Европа какая-нибудь), зато с их функциями исправно справлялись дворецкие, отроки-холопы и дворовые девки. Причем последние, доставляя понятное неудовольствие княгине, пользовались особым вниманием жизнелюбивого князя...

Но вообще-то, поскольку воевода был человеком достаточно незлобивым, даром, что царем поставленным, да ещё и «околорюриковского» происхождения, то люд Воронежский его любил и за глаза уважительно величал «наш князь Ферапошка».

Не без трепета в сердце Ермолайка, сын Дартан-Калтыка, вместе с тремя бузотёрами и батюшкой Тревинем, вошел в каменные покои воеводского терема, ведомый важным дворецким в красно-желтом кафтане с золотыми шнурами на груди.

Князь-воевода Ферапонт Пафнутьевич Людовецкий величественно сидел в своих приемных покоях в кресле, своей высотой и отделкой больше смахивающим на царский трон. Верх кресла скромно венчал аршинного размера двуглавый орел, искусно вырезанный из дерева и покрытый натуральной позолотой. Возрастом Ферапонт Пафнутьевич был, что называется мужчиной в самом соку, с наметившейся легкой сединой на висках и в курчавой окладистой бороде. Статью своей князь был вельми грузным, обличьем зело видным, и хотя чело его было по-вельможному величавым, на нем легко читались следы как тяжких государственных забот, так и обильной разгульной жизни.

Несмотря на теплое время года князь-воевода был облачён в покрытую золотой парчой соболью шубу. При этом на плешивой княжеской голове красовался и вовсе замечательный головной убор – тибетейка, подаренная ему как-то в виде *бакишиша* ногайским ханом Бехингером. По-восточному витиевато разукрашенная и покрытая замысловатыми узорами из драгоценных камней ханская тибетейка, оказавшись в руках национально мыслящего воеводы, по его велению, была в нижней части, чисто по-русски, скромно обшита соболиным мехом. Тем самым князь-воевода, вроде бы облагородил басурманский подарок, придав ему вполне русский вид и сделав пригодным для ношения русским князем, а с другой стороны... уж очень стала бывшая ханская тибетейка напоминать шапку Мономаха... В общем, дворовые её называли – «шапкой Феропаха».

В окно светило яркое весеннее солнце, наполняя княжескую горницу прямо-таки летним теплом, из-под соболиного околыша «шапки Феропаха» по похмельному лицу воеводы обильно струился пот, крупными каплями падая на куний мех роскошной шубы, но Ферапонт Пафнутьевич стойчески терпел. Потому как разоблачиться, скинув с себя теплые одежды, дабы как простой смерд остаться в одной только прилипшей от пота к телу рубахе, князь-воевода не имел никакого права. Дело в том, что сия шуба была ему высочайше пожалована аж с самого царского плеча, и потому в минуты исполнения державных деяний, ему – слуге государеву, надлежало быть именно в ней.

А именно сейчас таковая минута и была, поскольку перед воеводой, смиренно склонив чубатые головы в папах (отстояла-таки свое исконное право казачья не ломать шапки перед начальством), стояли трое хорошо известных ему городских казака и примкнувший к ним новенький, с типичной рожей низовой черкасни. Сбоку бузотёров стоял медвежьепоподобный казачий голова Тревинь, пряча лукавые глаза на суровом, покрытом многочисленными шрамами лице. Позади князя покорно ждала высочайших повелеваний многочисленная дворовая

челядь, а на его коленях лежала составленная Карамисом отписка, которую он только что, с трудом фокусируя расплывающееся зрение, соблагоизволил самолично прочесть.

Содержимое отписки князю понравилось. Понравилось настолько, что заметно улучшило его, с утра откровенно мрачноватое, после вчерашнего пира настроение. Прочитав отписку и заметно повеселев, князь наконец-то сделал решительный выбор по мучающему его с утра извечному вопросу, суть которого сводилась к простой дилемме: «Чем – рассолом или покрепче?». При чем разрешилась эта дилемма в пользу последнего, поскольку законная причина, нуждающаяся в том, чтобы быть согласно русскому обычаю наибо́льшим образом отмеченной, сейчас лежала у него на коленях...

– Медовухи... – не оборачиваясь бросил он и, не глядя, отставил руку в сторону шустро подбежавшего виночерпия. Виночерпий, видимо, хорошо изучивший как княжеские вкусы, так и его потенциальные утренние возжелания, с поклоном вставил в изнеженную княжескую ладонь дорогой хрустальный кубок в изящной золотой оправе. После чего сноровисто наполнил его из серебряной *сулеи* душистой медовухой, изготовленной по излюбленному князем рецепту. Секрет рецепта был прост. В сулею, вмещающую в себя не менее штофа чистой медовухи, хитроумной челядью для утреннего княжеского благорасположения тайком добавлялась добрая чарка водки. Таким немудреным образом в медовухе и вкус не портился, и в то же время незаметно появлялась столь потребная по утрам для воеводского организма алкогольная крепость...

Опорожнив кубок одним духом, с удовольствием крякнув и утерев мокрые усы полой шубы, князь отставил руку с пустым кубком в сторону, и внимательно всматриваясь в лица бузотёров красноватыми, но, тем не менее по-государственному пронизательными глазами глубокомысленно изрёк:

– Ишшо...

Только и ожидавший того виночерпий одним прыжком подскочил к князю и профессионально, не пролив на пол ни капли, вторично наполнил слегка подрагивающий в княжеской руке кубок.

Повторно выпив, сытно икнув и утершись, князь-воевода опять отставил в сторону руку с кубком, и небрежно ткнув толстым пальцем в сторону бузотёров, промолвил:

– Таперича им, а то от них рассолом на версту разит...

Легкими тенями по горнице промелькнули вышколенные челядинцы, и в ту же секунду, в руках бузотеров, как по волшебству, оказалось по чарке, до краёв наполненной желтоватым душистым напитком.

– Ну, за здоровье князя-воеводы Ферапонта-свет Пафнутьеича, подняв чарку левой рукой, а правой сняв папаху, произнес батька Тревинь и степенно выпил. Стоящие рядом бузотёры, также провозгласив здравицу князю, дружно последовали его примеру.

– А таперича за здравие государя и самодержца всея Руси Михайло Фёдоровича, – уже отвердевшим голосом, с прорезавшимися державными нотками промолвил князь и вальяжным жестом в очередной раз отставил руку с кубком в сторону виночерпия...

Бузотёры вслед за ним тоже повторили верноподданнический тост и степенно возлияли. На том официальная часть аудиенции была закончена, и дальнейшее общение уже протекало «в неформальной обстановке», начавшейся с того, что князь-воевода вдруг, как ребенок, которому неожиданно подарили желанную игрушку, залился счастливым смехом.

– ...Нет, ну я понимаю, двоих, ну троих, ну, на худой конец четверых... а тут цельных девять, да ещё и при оружии... ха-ха-ха... – не стал сдерживать распирившее его веселье князь-воевода, утреннее самочувствие которого благодаря медовухе заметно улучшилось. – Да ещё и не единого убиенного али увечного, а токмо побитые... – ха-ха-ха...

Вволю отсмеявшись, князь Людовецкий продолжил, удовлетворенно потирая ладони:

– Да-а-а... ну и утерли мы нос Модеске, а то он надясь бахвалился, что евонные стрельцы иноземную... ну, энту... как бишь её...? – и князь вопросительно повернул голову в сторону челяди.

– Стратегму, князь-воевода, – подсказал *кравчий*.

– Во, во... – энту самую стратегму под начальством какого-то ляха изучают, а потому, дескать, их таперича с ихней стратегмой и победить немочно. А вы их... ха-ха-ха... нагайкой по хребтине да свистулькой в гузно... А усё потому, – тут князь-воевода назидательно поднял указательный палец верх, – что супротив нашенского расейского ратного искусства никакая заморская стратегма не устоит. Вот!

– Знамо дело, княже, не устоит... – согласно закивали головами челядинцы. Их примеру дипломатично последовал и поднаторевший в искусстве царедворства батька Тревинь, а вслед за ним и бузотёры.

– Но, мотрите мне! – неожиданно твердым, повелительным голосом произнес воевода и угрожающе погрозил пальцем, виновато застывшим со склоненными главами казакам. – Чтобы засим усё... хвата... слышите? А не то... – и с этими словами князь, сжав пухлую руку в кулак, властно пристукнул им по подлокотнику кресла. – Дабы более никаких мне драк! А то ж указ-то «о воспрещении» я как ни крути, а всё же подписывал...

– Свет-воевода, князюшко, надёжа ты наша, – обратился к воеводе батька Тревинь. – Оне ж более не будут, оне уже раскаялись.

– Чтой-то я на их довольных ликах благочестивого раскаянья не отмечаю, особливо у вон того, с личиной низовой черкасн... Кто таков будешь? Ответствуй!

При этих словах Дарташов сделал шаг вперёд, и, приложив правую руку к сердцу, с достоинством поклонился.

– Да то Ермолайка – сын мово ясаула и старинного односума Дартан-Калтыка... – представил Дарташова батька Тревинь. – Эйто он того самого Жусимурзина нагайкой уделал... да и батька евойный, как я зараз припоминаю, в нагаечном деле тоже большой мастак был...

– Молодец व्यюноша, прям добрый молодец, ничего не скажешь. Намо такие зело надобны. Ты, кстати, в какую сотню его записал?

– Да нема у меня поукуда в сотнях свободных местов. Сам, князь-воевода, чай о том ведаешь, мы ж наемдни слободских казаков с Украины, что от ляхов в Русию бежали, к себе ж на службу приняли. А войны нынче мы ни с кем не ведём и даже со стрельцами дерёмся не до убиения... Вот и нету зараз свободных местов...

– Да, то правда твоя... – протянул князь-воевода, задумчиво глядя на Ермолайку. – А ты вот, что-тут лицо князя озарилось внезапной догадкой – запиши покамест своего Дарта... тыка... тьфу... ну как там его?

– Ермолайку Дарташова, князюшко... – подсказал батька Тревинь.

– Во-во. Дозволю приписать сего Ермолайку к разряду затинных пищальников Дезаркина. Пушай покамест там при царевом жаловании обретается, а службу чтоб при сём справлял у тебя в казаках. Да мотри у меня, служи справно... а то вдругорядь не помилую... – грозно потряс пальцем князь-воевода. – Да ещё вот что... жалую от своей милости твоим бузотерам десять... нет... девять рублёв. Елико стрельцов было, толико и денег будет дадено, по рублю за одного... – державно рассудил князь-воевода, проявив экономическую мудрость.

– Казначей выдать им прям сейчас, из тех... ну сам знаешь из каких... из вчерашнего посула, что купчина рязанский дал. Ну, засим усё... притомился я чтой-то нынче... – и, зевнув во весь рот, князь воевода легким взмахом руки дал понять, что высочайшая аудиенция окончена.

Подхватившие воеводу под руки отроки осторожно помогли ему подняться с кресла и, поддерживая сзади шубу, бережно сопровождали в опочивальню, где, приняв еще пару кубков медовухи, воевода решил немного вздремнуть перед предстоящим сегодня важным государ-

ственным делом. Пиром, задаваемым воеводским двором по случаю приезда в Воронеж хана малого улуса большой ногайской орды Бехингера...

А наш Ермолайка, чрезвычайно расстроенный тем обстоятельством, что его – природного донского казака, так и не сподобились записать в казачью городовую сотню, а приписали в какие-то там «затинные пищальники», уже мысленно махнул на будущую государеву службу рукой. И потому от охватившей его досады, пригласил своих новых друзей во вчерашний трактир, имея явное намерение спустить там всё княжеское вознаграждение. По дороге бузотёры доходчиво объяснили ему, что же представляют из себя «затинные пищальники» Дезаркина.

Дело в том, что затинные пищали на Руси, ввиду их чрезмерной старинности и соответственно малоэффективности, как таковые в воинском деле уже практически не применяются аж со времён Иоанна Грозного. А всё потому, что в пушкарском деле прогрессивного семнадцатого столетия, в связи с бурным развитием военной науки, древние затинные пищали оказались просто-напросто ненужными, так как и бьют они неточно, и заряжаются долго, да и пуляют не дальше доброго аглицкого мушкета. То есть толку от них мало, а хлопот, начиная с их немалого веса, более чем предостаточно.

Потому и стараются настоящие пушкарники держаться от них подальше, используя в качестве малокалиберной артиллерии современные дальнобойные фальконеты, которые по скорости заряжания, весу и точности стрельбы куда как превосходят старинные затинные пищали.

Но поскольку живем мы в России, доверительно разъясняли Дарташову бузотёры, то на деле затинных пищалей вроде бы и нет, а на бумаге они по чьему недосмотру, а может и наоборот, тайному умыслу – до сих пор есть. До сих пор в Московском пушкарском приказе состоит соответствующий «затинных пищалей разряд». И всё там, как положено: и начальство важное, чином не ниже путного боярина, и дьяки с подьячими, и даже «наставления по пищальному пулянию в государеваго супротивника из-за тына», кои исправно рассылаются из столицы по всем крепостям и весям. А самое главное, и деньги из казны, пусть и ополовиненные, но всё же из Москвы приходят. Причем приходят только туда, где местное начальство, перейдя в области малой артиллерии с затинных пищалей, допустим, на фальконеты, благодарно об этом промолчало...

Князь-воевода Людовецкий в щекотливом «затинном» вопросе в своё время сумел проявить завидное благоразумие. И теперь из Москвы, наряду с прочими, исправно приходят средства и на содержание двух десятков затинных пищалей и, соответственно, сотни обслуживающих их пищальников. А поскольку пищалей-то в крепости всего одна, да и та еще со времён Русской Смуты попаданием ядра поврежденная, то деньги за девять отсутствующих артиллерийских единиц князь-воевода с чистым сердцем забирает себе...

При этом в сотню затинных пищальников, которой командует сын боярский Дезаркин, воевода людей записывает только выборочно и строго по своему усмотрению. Например, часть своих холопов... Дабы числясь на государевой службе, они тоже царское жалование получали, да и в воеводскую казну его потихоньку отдавали, а он уж им из тех средств от щедрот своих иногда на водку выдаст. А то и вовсе, от великодушия своего княжеского, глядишь, когда и высесть за провинность прикажет с послаблением...

Кроме воеводских холопов в сотне затинных пищальников обреталось с пару десятков и действительно нужных для государевой службе людей. Вот именно к их числу, по высочайшему воеводскому повелению, и был причислен Ермолайка. Тем самым он, несмотря на отсутствие свободных вакансий в казачьих сотнях, обрёл возможность официально числиться в «царёвых служилых людишках» и, что весьма немаловажно, получать за это приличествующее жалование. А служить на деле ему всё равно придётся под командой батькой Тревиня, в казачьей сотне вместе с тремя бузотерами. Только что кроме василькового казачьего чекменя с шароварами, ему от русской казны будет выдан серый пушкарский кафтан с полосатыми портами, какие приличному казаку и одеть-то зазорно будет.

Впрочем, поскольку носить их всё равно необязательно, то Дарташов вполне может остаться в чём есть, а полученную справку лучше всего сразу же отнести в торговую лавку к во-он тому жидовину (к нему все носят), а Дезаркину, ежели вдруг спросит, сказать, что потерял.

Он поверит...

На том и порешили...

## Ришельский-Гнидович

В то время как brave бузотеры за счет проданной Ермолайкой казенной sprawy весело отмечали княжеское вознаграждение и Дарташовское назначение на службу, на другом конце Воронежа делалось то, что во все времена называлось политикой. И даже, не греша против истины, вполне можно сказать, что с приставкой «гео».

В расположенной напротив казачьей слободы бастильке (названной так по имени основателя слободы купца Бастильева), в мрачных покоех серого камня, отстроенных по соседству с узилищем и погостом, обретался тот, кого князь-воевода величал «Модеской». Тот, одного лишь упоминая которого так испугался тиун Менговского острога, и тот, по имени которого стрельцов называли «ришельцами».

Полным же именем обитателя «бастильки» величали – Модест Зорпионович Ришельский-Гнидович, и был он ни много ни мало, а цельным думным дьяком, то есть обладал чином, сопоставимым с рангом, как минимум современного федерального министра, или, на худой конец, депутата Государственной Думы.

Столь высокий чин оказался в южнорусском граде Воронеже, надо сказать, деятелями государственного масштаба особо не избалованного, лет пять назад по направлению кравчего самого государя всея Руси. Прибыв к Воронежскому князю-воеводе, Модест Зорпионович с поклоном вручил ему подписанную кравчием грамоту, в которой после многочисленных поклонов и пожеланий «многия лета» говорилось, что, дескать, податель сей грамоты, «раб Божий и холол государев Модеска», направляется в Воронеж «в помощь князюшке воеводе в различных государевых делишках».

Поскольку «князюшко» Людовецкий, поставленный царём в Воронежские края воеводить, рассматривал свое воеводство скорее как удельную вотчину, данную ему в кормление за своё знатнейшее происхождение, то в дела, так или иначе непосредственно с процессом «кормления» не связанные, он особо не вникал, предпочитая перепоручать их своим помощникам. Кроме того, был наш Ферапонт-свет Пафнутьевич большим жизнелюбом. Так что бесконечные пиры, бани с девками, потехи с медведями, охота, а потом опять пиры и неизбежные утренние дилеммы типа: «Чем, рассолом или покрепче?» почти что полностью поглощали все его время и силы, практически не оставляя ничего на решение важных государственных дел.

Так что приезду помощника князь-воевода был по большому счету рад. И особенно он обрадовался, когда узнал, что хоть и чину Ришельский-Гнидович был аж цельный думный дьяк, то роду-племени был совсем даже не княжеского, а значит, никакой опасности для его воеводской должности представлять никак не мог. После чего князь Ферапошка с превеликим удовольствием свалил на Модеску все свои государственные заботы, полностью посвятив себя проблемам улучшения процесса кормления и различным утехам...

И вот не прошло и полгода после приезда столичного управителя, как все дела в воеводстве потихоньку оказались в цепких руках думного дьяка. Ни одно мало-мальски стоящее назначение, будь то назначение на должность кабацкого целовальника или, например, тиуна, никакое строительство – ни нового терема, ни новых крепостных ворот, ни даже сторожевой вышки, ничто в пределах воеводства не проводилось без его участия. Дошло до того, что князь Людовецкий поручил ему от своего имени вести всю Московскую переписку, оставив за собой лишь раз в неделю, не читая, подписывать все принесенные ему бумаги и ставить на них свою княжескую печать.

И, вот диво, дела воеводства пошли... не в пример лучше. Даже Москва была теперь довольна, поскольку стараниями расторопного дьяка налоги в государеву казну заметно увеличились. Довольным был и князь-воевода, так как его личное «кормление» благодаря усердию столь умного помощника тоже стало значительно сытнее.

Так что воцарилась усердием Ришельского-Гнидовича на вверенной его заботам земле прямо-таки тишь, гладь да божья благодать. И всё бы оно так и было бы, если бы не тайные замыслы честолюбивого и коварного дьяка...

Дело в том, что имел наш Модеска своей ближайшей целью выслужиться у Москвы и выхлопотать у царя всея Руси для себя чин уже не думного, а, бери выше, ПРИКАЗНОГО ДЬЯКА. Для этого ему требовалось, прежде всего, убедить Боярскую думу о необходимости ввиду особых обстоятельств, открытия в Воронеже полномасштабного Донского приказа.

Приказа, созданного по образу и подобию Казанского, уже давно и успешно заправлявшего на Волге делами татарвы, башкирцев и прочей черемисы. Кроме увеличения чина, в связи с созданием Донского приказа, его начальник получал бы также воистину необъятную власть над всем краем и имел бы возможности к расширению его территории, вплоть до границ Оттоманской империи. Причём последнее Ришельский-Гнидович всенепременно намеревался сделать, давно и пристально присматриваясь к граничащему с воеводством Дикому полю, на котором находились земли донских казаков, а также ногайских и прочих татар. Естественно, что ни те, ни другие ничего о далеко идущих планах думного дьяка не знали, и входив в лоно Русского государства отнюдь не стремились, имея, не лишённые справедливости основания полагать, что ничего хорошего их там не ждет...

Видя же усердие Ришельского-Гнидовича в его стремлении к расширению государственных границ, Москва во всем шла ему навстречу и, в свою очередь, тоже уже начинала задумываться о целесообразности учреждения под его руководством Донского приказа. Ко всему прочему, для Москвы это сулило и дополнительную политическую выгоду, так как предоставляло возможность неназойливо перевести донских казаков из-под юрисдикции посольского приказа, где они до сих пор обретались, в специально созданное для них ведомство. Оно вроде бы и почетно (как же – собственный приказ), но в то же время уже и не иностранцы... А там, глядишь, и пост Донского атамана можно будет совместить с должностью начальника приказа, с одновременным предоставлением ему боярского звания.

В общем, перспективы для Московии были отменные, но даже хитроумным москвитам было невдомёк, что усердие Модеста Зорпионовича с подлинным государственным обустройством Русской державы не имело ничего общего, а диктовалось прямо противоположными мотивами. Дело в том, что думный дьяк Ришельский-Гнидович русским патриотом отнюдь не был, как и не был он русским вообще, в полном смысле этого слова.

...Когда на русской земле только назревало то, что историки впоследствии назовут Смутой, в начале царствования слабого царя Федора Иоанновича, бывшего лишь бледной тенью своего Грозного отца, католический орден иезуитов заблаговременно заслал на Русь своих эмиссаров, долженствующих возникнуть той самой Смуте всячески поспособствовать. Среди тех эмиссаров был и тайный иезуит из Речи Посполитой – Зорпион Гнидович, явившийся в Московию под личиной мелкопоместного шляхтича, якобы, из Белой Руси. В Московии он осел в волости Ришелово, где, проявив должную энергию, вскоре оженился на дочери тамошнего *волостеля*. Родившегося сына Зорпион сначала тайным образом окрестил по католическому иезуитскому обряду и лишь затем, открыто и принародно по-православному, с наречением младенца именем Модест. После чего Зорпион втёрся в доверие к пьяненькому волостному подьячему, и как-то опоив его до беспамятства, подделав его почерк, собственноручно записал своего отпрыска в столбовой книге как «столбового дворянина Ришельского-Гнидовича».

Расчет на фальсификацию у иезуита был как никогда точен, поскольку бедный подьячий после той пьянки почему-то весьма скоропостижно, так и не приходя в себя, скончался. Кроме того, Гнидовичу доподлинно было известно о надвигающихся на Русь событиях и о том, что все бумаги волости и уезда, кроме вот этой столбовой книги, вскоре будут уничтожены... Так что впоследствии оспорить русское дворянство Модеста будет уже просто невозможно...

Именно так оно потом и оказалось. Сам Гнидович в конце концов так и сгинул в горниле Русской Смуты, но след на Руси после себя всё же оставил. Сумел-таки посеять коварный иезуит на русской земле злое семя и взрастить для темных иезуитских дел вполне даже русского дворянина Ришельевского, сделав его тайным оружием Ватикана, действующим, как оно наследнику Игнатия Лойолы и положено, под иезуитским девизом: «Цель оправдывает средства».

Повзрослев и возмужав, молодой русский дворянин Ришельский-Гнидович так же, как и всё население России, оказался закрученный круговоротом великой Смуты. Только в ней он всегда оказывался на самой, что ни на есть русской стороне, борясь как с обоими Лжедмитриями, так и со шведами, и поляками, правда, при этом предпочитая ратной службе – службу бумажную. Благо был он для этого, в отличие от большинства русских дворян, достаточно умен и образован. Большой же Земской собор 1613 года, ставший поворотной вехой русской истории, Модест встретил в рядах яростных сторонников Михаила Романова.

На сём историческом соборе молодой подьячий Земского приказа Ришельский-Гнидович деятельно и весьма эффективно участвовал в выборах нового русского государя. Да не просто драл глотку, а добровольно взвалил на свои плечи львиную долю столь необходимой для обеспечения выборной кампании рутинной бумажной работы, от которой прочие молодые дворяне, по своему обычаю, как всегда всячески отбояривались...

За это, после торжественного восшествия Романова на престол, из скромных подьячих земского, Модест Зорпионович стал уже дьяком, и не какого-нибудь там, а самого что ни на есть посольского приказа. На этой должности Модест проявил кипучую верноподданническую деятельность, направленную на укрепление Русской государственности. А когда в 1618 году, после заключения мира с Польшей, среди возвращенных на Русь пленных при его непосредственном содействии оказался и отец нынешнего государя, будущий патриарх Филарет, то... То дворянина Ришельского-Гнидовича назначили на высочайшую должность Русского государства. На должность думного дьяка.

Казалось бы, ну что тебе еще надо? Ведь и чин, и почет, а, следовательно, и богатство – ведь всё же теперь было в руках Модеста Зорпионовича. Ну, сделал карьеру, какая многим и не снилась, ну и сиди себе в Москве в собственном тереме, благосклонно принимая подношения от разночинного люда. А потом в Кремле заседай, бывший сын мелкопоместного шляхтича и дочери волостного старосты, и не где-нибудь там, а в боярской думе наравне с самыми родовитыми боярами, ан нет... не стал. Не захотел того Модест Зорпионович и вместо Кремля напросился в Воронеж.

А все потому, что Ришельский-Гнидович вынашивал коварные замыслы, осуществить которые можно было только на южной окраине государства. И потому даже достижение чина приказного дьяка, так же, как и само создание Донского приказа, было для него не самоцелью, а всего лишь очередной ступенькой в его злодейских замыслах.

## "Речь Гнидовитая"

Злодейства же эти, направленные на взятие реванша после поражения в Смутное время, Модестом Зорпионовичем давным-давно уже были тщательно продуманы и, мало того, даже все необходимые средства для их претворения в жизнь, уже загодя заготовлены. В том числе и финансовые, благо Ватикан на благое дело никогда не скупился...

На первом этапе осуществления плана тайного иезуита правитель малого улуса большой ногайской орды Бехингер-хан должен был неожиданно начать войну с донскими казаками. При этом ему надлежало разом напасть на все их городки (чего обычно не бывало), воспользовавшись моментом, пока основная масса станичников будет находиться в дальнем походе где-то у берегов Туретчины. Силы же казаков, оставшихся на Дону, по его расчетам, будут таковы, что смогут еле-еле оборонить сами себя, без всякой надежды разбить ногайцев. Возвратившееся же на Донскую землю по осени из похода основное казачье Войско с ногайцами расправится играючи, и тогда они быстро уберутся с Дона к себе за Кубань.

Вроде бы все, как обычно и укладывается в обычную схему Дикого Поля. Ногайцы напали, пограбили, казаки пришли их прогнали. Но вот дальше Ришельский-Гнидович намеревался, воспользовавшись своей властью, перехватить зимовую станицу донских казаков, ежегодно направляющуюся в Москву, и... тайно ее изничтожить, предварительно опоив станичников в трактире Менговского острога (благо тамошние тиун и кабацкий целовальник – свои люди). Затем хитрый Модест Зорпионович намеревался заменить убиенных станичников на своих людей и обрядив их в казачьи одежды, отправить зимовую станицу дальше в Москву. Да еще и ревностно проследить за тем, чтобы с ними ничего худого в пути не случилось...

В Москве же его люди, после обязательных обильных подношений в посольском приказе и заверений в вечной любви и дружбе, должны были получить причитающийся казачьему войску ежегодный хлебный и огневой припас, с коим Войско Донское должно быть сыто и опять вполне боеспособно.

Но только на Дон этот царский припас, естественно, попасть был не должен, поскольку ему надлежало до поры до времени осесть в бастильских закромах Ришельского-Гнидовича. В результате такой хитрой комбинации огневая мощь казачьего оружия будет существенно ослаблена, а возможно, и вовсе сойдет на нет (без пороха-то, пойдешь повоюй), а учитывая тот факт, что прошлый поход в Туретчину, как и оборона от ногайцев, его уже изрядно подистощили, то...

И вот в этот самый тяжелый для казаков момент на казачьи городки опять ударят ногайцы Бехингер-хана, которым за это будет обещана большая награда. А вот давать татарам адекватный отпор, за неимением пороха, казаки смогут только холодным оружием, так что...

Но только дальнейшего разорения Донского Войска и полной гибели казачества под ногайскими клинками уже не допустит именно он, будущий дьяк Донского приказа и самовластный правитель Донщины Ришельский-Гнидович. Как ангел-спаситель, он прибывает в охваченный войной край во главе личного стрелецкого войска, и привезет с собой столь необходимые, истекаемым в непрерывных сечах кровью казакам огневые припасы (до той поры им же заботливо схороненные).

Привезенные припасы будут Модестом Зорпионовичем торжественно переданы Донскому атаману и всему честному казачеству на срочно созванном Круге, на котором взамен свинца и пороха будет поставлено пустяшное условие. Всего лишь подписать царскую челобитную с просьбой о создании Донского приказа, которую под одобрительные крики «любов» собравшихся казаков, атаман, особо не вдаваясь в подробности, и подпишет...

И все... Массированным ружейным и пушечным огнем ногайцы будут быстренько отогнаны к Кубани, а вождеделенный Донской приказ наконец-то создан. Казаки же по весне, как

завсегда у них водится, уйдут в свои походы. И даже подозревать не будут, что отныне их донской землей станет управлять именно он – Ришельский-Гнидович.

Ох уж эти казаки... воевать – так лучше их и не сыскать никого, а коснись дело политики – так сущие малые дети... Крути, верти ими как хочешь, а ежели крутить с умом, то они ничего и не заподозрят. Эту прописную истину хитроумный Ришельский-Гнидович хорошо усвоил ещё со времён Смутного времени...

Когда в 1611 году (за год до Минина и Пожарского) рязанским думным дворянином Ляпуновым было сформировано первое ополчение против польских интервентов, молодой подьячий Модест Зорпионович, естественно, оказался в его рядах.

И вот русское ополчение уже под Москвой, и скорее всего, дни владычества на Руси польской короны уже сочтены... Тут вдруг возьми и появишься подмётная грамотка за подписью самого Ляпунова, что дескать: «где поймают казака – там его бить и топить, а когда государство Московское успокоится, то мы и вовсе весь этот злой народ истребим».

А дальше оно уже само пошло и поехало...

...Раз – и якобы перехваченная грамота оказалась в руках у одного из казаков и была им передана своему атаману...

...Два – возмущенные казаки, составляющие наиболее боеспособную часть русского ополчения, справедливо усомнились насчёт перспективы «быть истребимыми». А потому и «успокаивать государство Московское» столь рьяно, как они это делали раньше, от души рубая ляхов, перестали, повсеместно вложив свои сабли обратно в ножны...

...Три – по своему обычаю казаки собрались на Круг...

...Четыре – на Круг прибыл оболганный Ляпунов, сказал что-то не то, что надо, и был до глубины души возмущенным казачеством просто-напросто зарублен...

...Пять – оставшееся без полководца ополчение вскорости и разбежалось, чем ещё на год продлило польскую интервенцию на русской земле...

Вот так, и всё это всего лишь одна вовремя подкинута грамотка! Эх, жаль, что через год, уже при втором ополчении с Мининым и Пожарским, в решающий момент Ришельского-Гнидовича рядом не оказалось (припоздал он тогда чуть-чуть, и приспел в Москву уже освобождённую), а то бы он что-нибудь ещё и похлеще бы придумал...

Так что в том, что он – Ришельский-Гнидович – управлять простодушными казаками сможет запросто, у него даже тени сомнения не вызывало. И даже как именно управлять, он уже детально продумал. Прежде всего (хотя бы на начальных этапах) очень мудро и уважительно, дабы до поры до времени ни в коем случае не обозлить казаков против себя. При этом в каждый казачий стан, в каждую станицу и городок им будут посланы свои верные люди, снабженные самым совершенным во все времена оружием – деньгами.

Для такого случая и люди уже есть, и деньги припасены. Вжившись в казачью среду, они подкупят атаманов, а ежели те покупаться не будут, то тогда они подкупят гольтыбу, для того чтобы она оных неподкупных атаманов скинула и избрала тех, которые будут угодны ему – приказному дьяку Ришельскому-Гнидовичу. По деньгам оно, так даже и дешевле будет. Самому же Донскому атаману, по ходатайству Модески, из Москвы будет высочайше пожаловано русское боярство и присвоено звание воеводы Донщины (к тому времени князя Ферапошку, за его никчёмностью и ненужностью, надо будет полностью аннулировать). А ежели воспротивится атаман, взбрыкнет по своей казачьей лихости, то и ему вслед за князем Людовецким также надлежит будет исчезнуть...

Назначив же Донского атамана воеводой Донщины (и даже неважно кого именно, поскольку власть все равно будет находиться в его – Модеста Зорпионовича – руках), на следующем этапе, он совместно с прирученной им казачьей старшиной введет казачий реестр. Вон, на соседней Украине поляки ввели, и ничего, служат казаки крулю ляшскому за милую душу, а раз так, то и царю Московскому послужат. Только в отличие от украинского, донской реестр

будет числом поболее и жалование реестровым казакам будет платиться раза в два пожирнее стрелецкого. Так, чтобы донцам можно было в поход за Зипунами больше и не ходить, поскольку на нехитрое казачье прожитьё царева жалования даже с излишком хватать будет. Благо папские денежки для этого уже припасены, и года на два-три их точно хватит, а за это время можно сделать о-о-очень многое...

Например, тайно провести унию между православной церковью и католической, с непременным признанием верховодства Папы Римского, как оно в Бресте для Украины и Белой Руси уже проведено было. Причем свершить сие «святое деяние» надобно так, чтобы простодушные казаки ничего толком и не поняли. Ну, мало ли чего там наши попы с ихними бритыми *ксьёндзами* тайно решать будут. Тем более, что в церквях казачьих ПОКА всё останется по-прежнему, а татарве донской, так той и вообще до тонкостей христианства дела нет...

И покроет тогда досель православную Донщину властная рука Ватикана, и с этой поры уже ничего на ней не будет свершаться без соизволения на то Папы Римского и его наместника кардинала (а именно этот духовный сан от понтифика и намеревался получить Ришельевский-Гнидович).

Этого уж от Москвы, при всей ее продажности и безалаберности, уже никак будет не утаить, но именно на этой случай у него, будущего кардинала, заготовлена козырная карта...

Не так давно в Диком Поле, и без того всякими кочевыми народами заплонённым, объявился новый народец, зовущийся не то «колмаками», не то «калмыками». Пришёл тот народец откуда-то из-под неведомой Джунгарии и рода он, как сказывают верные люди, самого, что ни на есть *мунгальского*. То есть народец сей в ратненском деле вельми сильный... Даром, что ли из тех же мунгалов происходит, откуда и сам Чингиз-хан когда-то вышел. Потому калмыки, придя в наши степи, всех этих ногаев, едисанов и прочую татарву с небывалой лёгкостью, можно сказать даже играючи и потеснили, тем самым высвободив себе в Прикаспии необходимое им жизненное пространство.

Да что там татарва какая-то, когда два года тому назад, они и с русскими войсками, вышедшими на них под командованием Астраханского воеводы, быстро «по-мунгальски» разобрались...

Да так, что *тайша* ихний Дарчин, сын тайши Урлюка, даже и не понял толком, какой именно народ на Руси главным является. И потому в лучших мунгальских традициях предложил равноправный союз (естественно, под своей эгидой), для всех обитающих в Диком Поле степных народов, в том числе и для... русских. А всё потому, что истинных сил и размеров Московии, не шибко разбирающиеся в географии калмык, совсем не ведали. Да и откуда им было это знать, ежели калмыцких послов пограничные заставы уже какой год на Русь не пускают. Причем делается это русским правительством умышленно, дабы таким примитивным способом не дать калмыкам путь к Москве разведать.

А вот что, ежели этот путь им взять, да и показать? Да ещё и проводников дать? Да ещё и шепнуть, что, дескать, Русь эта ещё со времён Чингиз-хана дань мунгалам платила, да и сейчас платить готова, вот только настоящих мунгалов до сих пор как-то не сыскивалось, а раз теперь законные чингизовы наследники объявились, то и...

А что? Простодушные калмыки запросто поверят и всей своей ордой ринутся восстанавливать историческую справедливость...

Так что, ежели всё с умом проделать, то совсем не до Донщины Москве станется. И пусть себе поднимает она под развернутыми *хоругвями* православные рати на новое Куликово поле, а Ришельевский-Гнидович тем временем, в своём «Поле», в «Диком», проведёт завершающую стадию иезуитской интриги.

...Итак, одновременно с принятием унии, все нереестровые казаки усылаются с глаз долой в далекий персидский поход, откуда им уже не суждено будет возвратиться (с *шах-ин-шахом* Ирана об организации достойной встречи уже ведутся соответствующие переговоры).

Реестровые же казаки начинают одновременную войну с Турецким султаном и с его вассалом Крымским ханом. Ногайский же хан, согласно восточному вероломству, сначала заверяет донцов в верности, а потом ударяет им в спину...

И пусть себе воюют в низовьях Дона, не мешая новоявленному кардиналу осуществить главное – тайно открыть западные границы Воронежского воеводства и провести в донские верховья польский коронный корпус. Тот самый, что уже тайно формируется в Речи Посполитой из слоев самой обнищавшей шляхты и европейских наемников. Благо, круль Ляшский Владислав Четвертый, до сих пор еще живой, и все еще во сне Русский престол видит, на который будучи королевичем он был призван в Смутные времена Семибоярщиной. Вон он до сих пор за Смоленск воюет. Правда, не сказать, что с особым успехом...

Вот ему, благодаря стараниям отпрыска иезуита Гнидовича, и представится новая возможность возвеличить Речь Посполитую, заняв когда-то предложенный ему престол царя московитов. Только займет он престол или не займет – это еще, по трезвому размышлению Модеста Зорпионовича, большой вопрос. Но вот в том, что польские войска, зайдя с юга и повернув на Москву, сумеют, как минимум, не пустить на Донщину царские войска, в этом он нимало не сомневался. Главное, чтобы казаки царю не помогли...

А и не помогут, даже если и захотят. Не до того им будет. И уж для этого он, кардинал Ватикана и тайный иезуит Ришельевский-Гнидович, ох, как постарается...

...Это только недавно почивший в бозе патриарх всея Руси Филарет не очень сильно разбирался в чистой и открытой казачьей душе. Потому он абсолютно безуспешно пытался направить христоролюбивое казачье воинство в Польшу вместе с... турками, да ещё и под командованием турецких пашей. Естественно, что ничего путного из этого не получилось. Да и в принципе получиться не могло. В ответ на такое диковинное предложение, да ещё и исходившее не от кого-нибудь там, а от его святейшества главы Русской церкви, простодушные казаки чистосердечно заявили, что никогда не пойдут войной на христианское государство под басурманскими знамёнами. И не пошли, тем самым, оставив патриарший «казачье-турецкий проект» без реального воплощения. Да потом ещё, за проявленную стойкость, навлекли на свою голову его гнев, а, следовательно, и гнев его сына – царя всея Руси, ввергнувший все донское казачество в длительную опалу.

Да, слабоват почивший патриарх был в казачьей политике, откровенно слабоват... Сразу видно, что не иезуит. Попытался было провести интригу геополитического масштаба, а менталитета задействованных «народных масс» учесть не сумел... Но действовал он, тем не менее, в направлении весьма правильном. Поскольку хитросплетённый узел: Турция – Россия – Польша действительно является краеугольным для геополитики всей восточной Европы. Только трактовать этот узел Ришельевский-Гнидович предлагает следующим образом.

Нечестивые угнетатели христиан – турки, защитники христиан – казаки – и... интересы великой Речи Посполитой!

Вроде бы всё, казалось бы, так же, как и в патриаршем «проекте», только лишь слегка смещаются акценты, а в результате...

Немного целенаправленных политических и дипломатических усилий, и постоянно идущая на юге казачья война с магометанами, по большому счёту, традиционно носящая вялотекущий характер, превращается в войну жёсткую и тотальную. А ежели ещё обеспечить её стараниями нового униатского духовенства и соответствующей пропагандистской подоплёкой, то из войны за добычу и территории она быстро станет праведной войной за веру. А еще лучше, примет форму нового крестового похода...

...И пусть себе казачье христово воинство стройными рядами, под развёрнутыми знаменами с наспех нашитыми крестами, идёт себе в новый крестовый поход. Там оно геройски сражается с несметными полчищами басурман и... геройски гибнет. С тем, чтобы их тающие в неравной, но праведной борьбе ряды, постепенно пополнялись единоверными (а как же, уния

то ведь была) братьями во Христе, польского происхождения. И вот когда на полях сражений с магометанами ляхов станет больше, чем оставшихся в живых казаков, то тогда дипломатическими усилиями кардинала Ришельского-Гнидовича (дейтельно поддержанными Ватиканом), война за веру, как по волшебству, прекратится...

В результате чего благодатный Донской край, естественным путем и без всякого насильственного захвата, обретет своих новых жителей католического вероисповедания. Ведь те поляки, которые вместе с казаками были в войне за веру, уже никуда с Дона не уйдут. Наоборот, вместе с остатками природных донских казаков они вернуться в их родные городки и станицы, как бы заменяя собой в Донском Войске многочисленных героев, polegших на полях брани крестового похода...

Став этническим большинством, ляшские католики на Кругах обязательно вступят в казачество и при этом непременно сохраняют внешние атрибуты казачьего самоуправления. Но только внешние, поскольку отныне полонизированный Дон будет уже не казачьим и, тем более, не русским. И суждено будет сему благодатному краю, очищенному, благодаря иезуитской интриге от проклятых схизматиков, стать восточной частью Речи Посполитой, а также форпостом католицизма для дальнейшего наступления на север и восток. Ришельский-Гнидович уже даже название для новой провинции великой Польши придумал – «Речь Гнидовитая».

Тем самым, увековечив в название новых земель, имя будущей правящей династии...

Себе же он, впоследствии, по истечении земной жизни, отводил скромную роль канонизированного Ватиканом католического святого, сумевшего принести истинную веру, а следовательно, и европейское просвещение в этот дикий азиатский край.

В общем, на момент описываемых событий политическая ситуация вокруг иезуитской интриги, столь лихо закрученной в ничего не подозревавшем о том русском городе Воронеже, напоминала туго сжатую пружину. Причем пружину, для распрямления которой достаточно было лишь одного легкого щелчка...

И щелчком этим должен был стать Бехингер-хан, которому за щедрую плату, тайно внесенную ему думным дьяком, надлежало начать войну против донских казаков. И именно от взмаха его ханского бунчука с тремя белыми конскими хвостами, совершенного перед ногайской ордой в направлении Дона, по большому счету и зависело, станет ли впоследствии Дикое Поле частью Речи Посполитой или нет.

## "Шерше ла фам" или "шукайте жонок"

Сам же хан, будучи в геополитических сентенциях не шибко сведущим, ничего этого, конечно же, не понимал. И при этом воспринимал дьяческий бакшиш, чем-то вроде продолжения славной традиции подношения дани, которую урусы испокон веков платили ханам Золотой Орды. И единственное, что его как настоящего чингизида волновало, так это то, как бы сделать сие славное деяние более регулярным. То есть превратить случайный бакшиш в ежегодный *Кьшитым*. Да еще с обязательным ясырем (хотя бы только для гаремов) и, непременно, с пушным *ясаком* (зря, что ли Сибирь к России присоединяли)...

Ну, а то, что за бакшиш придется повоевать с казаками, то *кисмет*, на всё воля Аллаха, почему бы и нет, воевали раньше и сейчас повоюем. Ну, а раз этим урусам почему-то во что бы то ни стало надобно, чтобы он напал именно на ВСЕ их городки сразу, то и нападём. Только вот с Аннума-ханум, да преумножит Аллах ее красоту, разберемся, а потом и нападём...

Примерно так рассуждал правитель малого улуса большой ногайской орды, славный потомок Чингиз-хана Бехингер-хан, да продлит Аллах его годы. Незадолго до этого, прямо перед заходом в Менговской острог Дарташовым, он тайно повстречался там с Сигизмундом Рошфинским и боярыней Меланьей, состоявших при Ришельском-Гнидовиче главными его помощниками по различным темным делам.

Получив от них бакшиш, по стратегическому замыслу тайного иезуита, он тотчас же должен был бы стрелой помчаться через все Дикое Поле к себе в улус, дабы немедленно поднимать там на казаков несметные ногайские орды. Но вместо этого, отъехав от острога на юг всего пару верст, Бехингер-хан приказал повернуть коней назад и окольными путями направился обратно в Воронеж...

И причина столь крутого поворота ханского пути, а возможно, и всей русской истории, таилась, как это ни странно, отнюдь не в знаменитом восточном вероломстве. А в самой, что ни на есть, чистой (насколько уместно это сравнение к не особо следящему за чистотой своего тела кочевнику) и всепоглощающей любви. Так уж случилось, что ханская любовь в настоящий момент жила именно в Воронеже и была она, ни много ни мало, а законной супругой самого главного управителя этих мест – воеводы Воронежского края князя Людовецкого.

Эта была княгиня Анна, по батюшке Аристарховна, происхождением из славного рода новгородских князей Вастрицких. Воронежский люд уважительно величал её Анной Вастрицкой, а Бехингер-хан – «Аннумой-ханум».

Надо сказать, что Анна Вастрицкая, действительно была женщиной красоты, как поэтично говорили в те времена, «писанной». И именно это обстоятельство произвело на оказавшегося как-то проездом в Воронеже Бехингер-хана, являвшегося, как и любой другой порядочный хан, тонким ценителем женских прелестей, весьма неизгладимое впечатление. Именно такой жены, статной, как молодая верблюдица, с глазами джейрана и волосами, как грива бело-снежной кобылицы, у него до сих пор в гареме и не было...

А раз не было, то славный чингизид воспылал к ней страстью всей своей неумейной восточной натуры и тайно поклялся на Коране сделать всё, чтобы Аннума-ханум стала его...

...Ханское посольство, бывшее в Воронеже, вообще-то говоря, проездом в Москву, задерживалось в нем уже больше месяца, и, в конце концов, это стало всем бросаться в глаза. Даже князь-воевода, пылко растрачивая себя на дипломатической ниве, а именно – постоянно устраивая пиры в честь высоких гостей дружественной Орды, стал подозревать что-то неладное...

И вот как-то раз на одном из пиров, когда князь Ферapoшка, обильно нагрузившись, заснул прямо за столом, после чего был с почетом отнесен челядью в свою опочивальню, Бехин-

гер-хан, наконец, решился... Блудливо оглядев вокруг раскосыми глазами, он подсел к княгине и со всей пылкостью восточной души, коверкая русские слова, сделал ей любовное признание.

Здесь было всё.

...И сравнение с розой, выросшей среди верблюжьей колючки, встреченной истомленным путником на его нелегком пути в бескрайней пустыне... И сравнение с алмазом чистой воды на рубиновом небосклоне его жизни, раскинувшимся над цветущим персиковым садом... И что-то еще, почерпнутое ханом как из богатого личного опыта, так и из арабских и персидских книг, слушать которые он был большой охотник.

Заканчивалось же признание вполне прозаически – угрозой напасть и сделать «кердык» всему Воронежскому улусу в том случае, ежели «светоч очей его» ему во взаимности почему-либо откажет. Впрочем, особого значения для собственно любовной жизни самого «светоча» этот отказ иметь никак не будет, потому как тогда Бехингер-хан, в лучших традициях чингизидов, просто-напросто умыкнет его силой...

Надо сказать, что Анна Вастрицкая женщиной была нрава вельми строгого, и ничего ТАКОГО себе никогда не позволяла. Чай это вам – Рассея целомудренная, а не какая-нибудь там Европа куртуазная...

Но, тем не менее, к признанию Бехингер-хана, особенно к его последней части, княгиня Анна отнеслась со всей серьезностью. Дело в том, что в отличие от своего супруга, разум которого от тягостей государевой службы, кою он видел исключительно в пирах и прочих утехах, стал постепенно сдавать, княгиня была женщиной не только благочестивой, но и весьма умной. Да к тому же ещё и чисто по-женски проницательной.

Зачастую именно ее проницательность явное отсутствие в делах воеводства державного мужского мышления и компенсировала, поскольку самому воеводе, вследствие известных причин, оно иногда изменяло. Зная за собой этот грех, он завсегда с охотой прислушивался к советам своей княгинюшки и нередко им следовал. В одном он только был с ней категорически не согласен, с той неприязнью, которую испытывала его жена к думному дьяку, двуличность которого она своим женским сердцем давным-давно прочувствовала. Но вот только прямых доказательств его вражеской сущности, способных раскрыть глаза князю-воеводе на подлинное лицо своего ближайшего помощника, увы, еще не заимела.

Проницательность княгини Анны не подвела ее и на этот раз. Ведь могла же она просто-напросто гордо встать и с оскорбленным достоинством удалиться из-за пиршественного стола, оставив Бехингер-хана в расстроенных чувствах наедине с ополовиненным бурдюком кумыса. И никто бы ее за это не осудил, а напали бы потом ногайцы на воеводство или нет, еще большой вопрос...

Но женская интуиция ей подсказала, что раз уж воспылал к ней любвеобильный чингизид неумной страстью, то в интересах воеводства, умнее было бы его не отталкивать, а, как бы это поточнее сказать... в общем, держать на коротком поводке. Как дикого степного коня на аркане. И хотя сам немый нехристь, знамо дело, ей – русской княгине был ну, совсем без надобности, тем не менее, определенные соображения относительно хана у Анны всё-таки были. И прежде всего её интересовало, какова же именно будет ханская роль в раскладах ее злейшего недруга Модески, в коварных замыслах которого такая силища как ногайская орда, просто непременно была обязана участвовать.

Так что на том самом пиру, после словесного излияния потока восточной страстности, сочла княгиня Анна возможным в ответ мило улыбнуться и даже кокетливо провести пальчиком по унизированной перстям, короткопалой руке хана. После чего она, так и не произнося ни слова и одаривая хана загадочной улыбкой Джоконды, молча встала, и грациозно повернув вправо голову, поднесла к ней обе руки. Ничего не понимающий Бехингер-хан оторопело следил своим раскосым и замутненным кумысом взглядом за взметнувшимися, как два лебяжьих крыла, белоснежными ручками княгини...

И вдруг... радужно сверкнув в свете свечей разноцветными бликами, на колени Бехингер-хана, как звезда с неба, с позолоченного *кокошника* Анны Вастрицкой, будто бы незначай упала яхонтовая чикилика. Так и не сказав потрясенному хану ни слова, княгиня Анна удалилась в свои покои с гордо поднятой головой. Хан же, оставшись один, проворно схватил чикилику от кокошника своей цепкой рукой. После чего, от избытка охвативших его дикую степную натуру буйных чувств, Бехингер поднес украшение ко рту и с плотоядным урчанием хищника впился в неё своими крепкими зубами. При этом от охватившего всё его естество свирепого удовольствия татарин блаженно прищурил и без того узкие глаза...

Через пару дней в Менговском остроге, получив бакшиш и заверив подручных Ришельского-Гнидовича в скором исполнении «заказа» на казаков, сторающий от любовного томления Бехингер-хан опять помчался в Воронеж. Въехав в город во главе сотни из верных нукеров, он, прежде всего, приказал нукерам связать и выпороть не пускавшую его в крепость стражу. После чего, построив сотню в колонну по двое, решительно направился прямо к княжескому терему, дабы со свойственной ему прямоотой поставить перед княгиней мучающий его любовный вопрос ребром.

Измученные жители, разбуженные ранним топотом копыт по городским мостовым, выглянув в окна хат, перепугано крестились и на всякий случай начинали лихорадочно искать спрятанное под лавками оружие...

Во главе зловеще вошедшего в русский город самого натурального татарского отряда, на грациозной арабской лошади, гордо и с истинно восточной невозмутимостью восседал облаченный в дорогие доспехи Бехингер-хан. Он был, как оно и подобает быть правителю малого улуса большой ногайской орды, надменен и величественен.

Тайно подаренную ему (или случайно обронённую?) яхонтовую чикилику от кокошника, как тайный знак любви, каковую, по его мнению, «светоч очей его», несравненная Аннумаханум уже непременно должна была к нему испытывать (а как же иначе?), хан водрузил на самое дорогое для себя место. А именно – на сблю своего любимого аргамака. И сейчас яхонты, лежа на белой конской чёлке, переливаясь всеми цветами радуги, радостно сверкали на утреннем солнце, посылая во все стороны вместе с лучами тайные сигналы любовной страсти Бехингера. А, учитывая то, что аргамак был кобылой, причем белоснежной масти и с гривой цвета волос несравненной Аннумыханум, приятные ассоциации напрашивались сами собой...

Но, увы, у воеводского терема Бехингера ждало жестокое разочарование. Оказалось, что предмет ханских вождлений незадолго до его приезда на время покинул город, отправившись после пасхальных праздников на богомолье в один из дальних женских монастырей. Этому уж правоверный мусульманин Бехингер-хан понять никак не мог, и потому раздосадованный донельзя на этих непонятных урусов, он, развернув отряд на главной площади города, так же величественно удалился в сугубо южном направлении.

При этом хан, как суверенный правитель территориального образования, как минимум, нарушил общепринятый протокол, так и не удосужив ни князя-воеводу, ни думного дьяка своим высочайшим посещением. Князь-воевода, правда, этого особо и не заметил, поскольку находился по случаю отъезда жены в глубочайшем загуле, а вот Ришельский-Гнидович, вынашивающий относительно орды тайные замыслы, скоропалительному отъезду хана весьма даже огорчился.

Поскольку ничто так не огорчает, как неизвестность, и особенно она страшна в великих деяниях геополитического масштаба...

Через пару недель терзаемого сомнениями Модеста Зорпионовича, наконец, осенило, и он немедленно приказал послать за боярыней Меланьей. Рассудив так, что поскольку она, будучи ко всему прочему ещё и женщиной, своим женским чутьем наверняка сумеет найти ответ на мучающий его вопрос, относительно загадочного поведения Бехингер-хана. Тем более, что уж кто-кто, а Меланья-то с её биографией, ох, как многое знает и умеет. Эта уж

«фемина» воистину всем «феминам» «фемина», настоящая европейская «ля фамм», которую, как известно, всегда и везде необходимо «шерше», то бишь «шукать»...

И истоки зарождения столь замечательной «ля фамм», уходят в ту недалекую пору, когда в вихре бушевавшего над русской землёй лихолетья Смутных времён на Руси случилось пребывать великому множеству всяческих авантюристов. Как известно, Россия нашла в себе силы стряхнуть с себя всю эту авантюрную нечисть и выйти из того лихолетья не только живой, но и обновленной. И даже великий и могучий русский язык в память тех времён обогатился новым глаголом «струсить». По имени польского коменданта Московского кремля, ясновельможного пана Труся.

Того самого, который сначала намеревался яростно сопротивляться напору рати Минина и Пожарского, а потом, испугавшись русского гнева, с позором бежал из Москвы. Кроме русского языка, пан Трусь – мужчина дородный и собой видный – обогатил ещё и чрево одной вдовствующей московской купчихи, наказав ей, что ежели родится мальчик, то непременно назвать его Анджей, а если девочка – то Мелисса. После чего, смилив свой шляхетский гонор и крикнув напоследок «пся крев» ворвавшимся в кремль русским ратникам, пан Трусь под прикрытием польских «хузар» выехал к себе в Варшаву, по дороге тщетно ища ответа на причины поражения польской короны.

Незадолго до избрания нового царя у купчихи родилась девочка. Следуя заветам так полюбившегося ей ляха, она постаралась назвать девочку именно так, как он её и просил. Вот только заморское имя «Мелисса» для русского уха звучало как-то непривычно, да и в православных святках оно не значилось, потому и был наречён младенец «Меланьей».

Купеческая жизнь при собственной лавке была сытной и размеренной, только вот Меланью, в жилах которой бурлила кровь иноземного авантюриста, она никак не устраивала. Потому достигнув определенного возраста и обернувшись красивой стройной девицей с шелковистыми белокурыми волосами, Меланья порвала с московским мещанством самым решительным образом.

Покидая отчий дом и прагматично рассудив, что для дальнейшей жизни ей потребуются немалые денежные средства, она просто-напросто обокрала до нитки свою мать, а для того чтобы скрыть следы своего злодейства, не дрогнув и сердцем, подпалила свой родной дом. От загоревшегося дома и лавки в бревенчатой Москве тогда сгорел весь прилегающий квартал, а купчиха, так и не сумев всего этого пережить, скорострительно скончалась...

Исчезнув из Москвы, девица Меланья вскоре оказалась в Лильске, чем и как она там занималась, так и осталось навеки покрыто мраком, только закончился её Лильский период неожиданным замужеством за одним служилым дворянином. Как и что у них там обернулось, никто доподлинно никогда и не узнал, только дворянин тот вскорости исчез, а Меланья стала считаться дворянской вдовой. Там же в Лильске, у Меланьи приключилась какая-то темная история с властями и палачом, из которой молодая красивая вдова, впрочем, довольно-таки скоро смогла успешно выпутаться.

В качестве молодой и безутешной дворянской вдовы, весьма собой пригожая и донельзя разбитная девица, смогла очень быстро повторно выскочить замуж. На этот раз в Тверском уезде и уже за боярина.

Дальше опять последовала история, покрытая мраком, но только повторно оставшись без мужа, Меланья теперь уже считалась боярыней. Там достойную дочку пана Труся и отыскал пан Рошфинский, знававший ещё в Смутные времена её знаменитого отца. Новый боярский титул, соответственно, открывал для Меланьи и новые возможности применения её авантюристических наклонностей. Потому бросив провинциальную Тверь, окрыленная удачами, новоиспеченная боярыня вместе с паном Рошфинским очертя голову укатила обратно в Москву, имея тайную мысль повстречаться там с каким-нибудь одиноким князем. Но, увы, в Москве

она была опознана погорельцами своего бывшего квартала, поймана по их наущению царскими истцами и, вместо княжеских покоев, под конвоем отправлена в разбойный приказ...

Но оттуда, прямо из корявых лап палача (кстати, второго в её авантюрной жизни), она была вызволена стараниями думного дьяка Ришельского-Гнидовича. Заполучив в свои цепкие руки Меланью, Модест Зорпионович отдал должное её подходящему происхождению и со знанием дела, по достоинству оценил её авантурные способности, профессионально отыскав в них природную склонность к шпионажу. После чего боярыня Меланья была подвергнута скрытной процедуре перекрещения на католический манер и торжественно принята в тайный орден иезуитов.

И вот сейчас эта обладающая боярским титулом полуполька католического вероисповедания вместе со следующим чуть позади неё паном Рошфинским, поднималась по темной лестнице бастильки.

## В бастильской слободе у Ришельского-Гнидовича

Облачённый в своё любимое одеяние, в ярко-красную котыгу и такого же цвета *тафью* на голове, повесив на грудь массивный католический крест иезуитского образца (что он обычно делал только в присутствии самых приближенных), теневой правитель Воронежского воеводства Ришельский-Гнидович в полутёмной палате бастильки слушал отчёт своих тайных агентов.

– Так сказываете, что деньги-то хан всё ж таки имал?

– Имал, ваша ясновельможность. – Так, на «вы», что было для тогдашней Руси совсем непривычно, поскольку в те времена даже царя-государя ещё на «ты» величали, и слегка на ляшский манер, обращались к Ришельскому его помощники.

– Так, так... – задумчиво тербил свою не по-русски подстриженную клинышком бородку Модест Зорпионович, размышляя о причинах вероломного поведения Бехингер-хана и абсолютно безуспешно пытался найти в нём хоть какие-то разумные мотивы.

«Вот и пойми этих... россиян...» – думал Ришельский-Гнидович. Добро бы хоть русским-то был, тогда можно было бы о «загадочной русской душе» подумать. Скажем, по пьянке перепутал... Так ведь нет же – нехристь татарский, окромя кумыса и не пьёт-то ничего, а всё ж, глядишь ты, туда же... Тогда что же? Восточное коварство? «Таньга имать, гяур кидать?» Происки Оттоманской Порты? Хотел сперва султану доложиться? Но на кой ляд ему тогда в Воронеж возвращаться? Скакал бы лучше уж, например, прямой дорогой в Азов... А может, и у нас тут какой султанский лазутчик имеется? Например, из его личных стрельцов? Совсем запутался в своих рассуждениях Ришельский-Гнидович.

– Значитца деньги, говоришь, он имал... – повторился думный дьяк, – а чтой при сём сей поганец молвил?

– Да ничего особенного... – отвечал Рошфинский, – как обычно: сначала «якши», потом «кисмет» и «Аллах Акбар», а впоследствии, как водится, «секим башка» и «кердык».

– Да... и молвил то усё зело правильно... – задумчиво протянул Ришельский-Гнидович. – И опосля этого он повернул обратно на Воронеж? Вот и разумеи их нехристей, еще хуже схизматиков будут... – продолжил вслух свои размышления Ришельский-Гнидович. – А можа его князь Ферапошка перекупил? Да нет, не похоже, ему сейчас не до того... как княгиня с богомолья приехала, так насилиу его и откачали... Княгиня... Княгиня? – И с этими словами Ришельский-Гнидович, вопросительно приподняв бровь, оглядел своих помощников.

Молчавшая до сих пор боярыня Меланья, стоявшая в присутствии своих европейски мыслящих сотоварищей с недопустимо распушенными по плечам золотистыми волосами, впервые за всю беседу подала голос.

– Ваша ясновельможность, разумею я так, что причина сего вероломства в ней, в княгине самой и кроется...

– Почто ведаешь? Ответствуй!

– Я женщина, ваша ясновельможность, потому мне и ведомо то, что мужчине обычно и невдомёк... – сказала боярыня Меланья, сначала опустив, а потом чисто по-женски стрельнув по думному дьяку своими бездонными очами. – Упомните тот пир, на котором я вас с Сигизмундом сопровождала, ну егда мы ногайское посольство встречали...

– Ну...

– Вот и зрела я тады, как он на неё смотрел-то... аж зубами пиалу с кумысом грыз, хищник плотоядный... – сказала Меланья с легким оттенком ревности.

– Точно сие узрела? А то я как-то и не заприметил...

– Так на то вы мужеского полу и будете, ваша ясновельможность, – сказала боярыня Меланья и, закатив глаза кверху, льстиво добавила, – да ещё какого...

При последних словах Ришельский заметно приосанился, и откинулся назад, расправив свои тщедушные плечи.

– Продолжай... – сказал он довольным голосом.

– А что ж тут продолжать-то, – смиренно опустила очи боярыня Меланья, – точно молвлю, воспылал наш ханчик страстью к нашей княгинюшке...

– Ну, допустим, усё так оно и есмь. А что ж княгиня-то? Она ж обычно всем от ворот-поворот даёт... – сказал Модест Зорпионович и при этом по его желчному лицу, легким хмурым облачком пробежала тень неприятных воспоминаний. – А бывает, что при сём она ещё и *шандалом* по мордам добавляет... – совсем омрачилось воспоминаниями, и без того не светлое лицо думного дьяка.

– А она ему... – с этими словами Меланья подняла свои глаза и немигающим взглядом степной гадюки уставилась прямо в глаза Ришельского-Гнидовича – заместо шандала по немой морде, взяла, да и ответствовала взаимностью...

– Быть такого не могёт! – только и ахнул, осев в кресле думный дьяк.

– Дык чтоб такая женщина, аки княгиня, да поганому татарину...

– Могёт, ваша ясновельможность, ещё аки как могёт. – Эй, Сигизмундка, очнись, – толкнула локтём Меланья стоящего рядом и погружённого в свои размышления пана Рошфинского. – Упомни, каковы наши последние слова были хану, опосля которых он вскочил на коня и ускакал?

– ...Последними нашими словами были... а ведь точно... Ваша ясновельможность, а ведь панночка правду глаголет. Как токмо мы промолвили, что, дескать, выезжая из Воронежа столкнулись с возком княгини Анны, так Бехингер-хан сразу же вскочил, як ужаленный, и ускакал.

– Ай, да Мелисса... добжия шляхетка у пана Струся уродилась... Дозвольте панна приложиться к вашей длани... – и галантно поклонившись, пан Рошфинский совсем по-европейски коснулся губами протянутой ему для поцелуя ручки.

– Вот так, ваша ясновельможность! – торжествующе воскликнула Меланья, – а егда мужчина при одном лишь упоминании о женщине свершает дурковатые деяния, то эйто я вам скажу...

– Да, дела-а-а... – только и мог протянуть ошарашенный таким неожиданным оборотом интриги Ришельский-Гнидович. Не зря я тады тебя от *ката* вызволил и в люди вывел... Ох, не зря... Ну что, на сём усё? Ну, выкладывай же, по глазам же вижу, что еще чтой-то притаила.

– Да так, ваша ясновельможность, так, пустячок один... – привычно скромно потупив очи и смиренно, как монашка, сложив на груди руки, сказала Меланья. – Упомните, егда мы с того пиру возвращались, вы еще тады с князем... это... хм, ну, в обчем... упившись были, вам ещё похужело, и вы домой поехать не пожелали...

– Ну... – мрачно буркнул Ришельский.

– Вам еще тады в княжеском тереме гостевые покои для почивания отвели, и я тады с вами осталась...

– Разве... – смущенно протянул Модест Зорпионович, – впрочем, усё может быть...

– Так вот тады, егда мы с вашим ясновельможеством шествовали по коридору, навстречу нам встренулась княгиня, ну вы тады еще возжелали ей чтой-то сказать на ухо, токмо у вас из сего ничего не получилось...

– Чтой-то не припомню сие. – Глухим, но твёрдым голосом ответил Ришельский-Гнидович.

– Да это и неважно, важно то, что шла она тады в кокошнике токмо с одной яхонтовой чикиликой.

– Ну, и что с того? Не тяни... – поддавшись от нетерпения вперёд, спросил дьяк.

– А то, что, кады мы проходили в трактир на Менговском острого, то точно такую же чикилику, узрела я...

– Иде? Да не тяни ж ты...

– На сбруе ханского аргамака! – торжествующим голосом сказала боярыня Меланья и уточнила. – На любимой ханской кобыле...

– Ох... – только и мог охнуть Ришельский-Гнидович, в голове которого наконец-то появилась ясность. – Ай, да княгинюшка, ай, да недотрога...

– Ну, узреть-то я узрела, да потом возьми и подойди к коняшке поближе... – скромно продолжала боярыня, – сторожившего коня татарина я потихоньку заболтала да и отвела в сторону его узкие глазоньки и вот...

– Ну, что вот?

– Да вот, – с нескрываемым кокетством Меланья жеманно отвернулась и стала что-то расстёгивать в сарафане у горла. Справившись с застёжками и не давая себе труда застегнуть их обратно, боярыня что-то сняла с груди и резко обернулась к Ришельскому, разметав по плечам белокурые локоны. При этом её глаза сверкали неприкрытым торжеством.

– Вот... – торжественным голосом повторила она и раскрыла сжатую ладонь.

На ладони женской сверкали, переливаясь всеми цветами радуги, два драгоценных яхонта, срезанные с *чикилики* Анны Вастрицкой!

Насладившись минутой своего триумфа, боярыня Меланья положила яхонты перед Ришельским-Гнидовичем, после чего как ни в чем не бывало продолжила.

– А сёдни поутру, проходя в княжеский терем, как будто бы с важным донесением на ваше ясновельможное имя, узрела я, аки княгиня, уединившись в садовой беседке, чтой-то собственноручно писала... Уж не любовную ли цидульку для хана? Женское сердце – загадка, всё может быть... и мыслю я так, что сие послание ЕЩЁ не отправлено...

## Гнев князя-воеводы

– Анка-а-а, подь сюды! – раненым медведем взревел князь-воевода, после того как за посетившим его с утренним визитом Ришельским-Гнидовичем захлопнулась дверь...

– Немедля сыскать и привести, – грозно бросил князь стоящим навтытяжку и ждущим его распорядителей холопам. – Чтобы зараз предо мной была... – только успел произнести воевода, как, сбивая друг друга и яростно толкаясь локтями в дверном проёме, дворовая челядь ретиво бросилась выполнять княжеское распоряжение.

Надо сказать, что уже третий день после приезда с богомолья своей благочестивой супруги, князь-воевода находился в пресквернейшем состоянии духа. И многоопытный Ришельский был совершенно прав, уверенно предположив, что в отношении интриги с Бехингер-ханом, самого главного управителя воеводства можно было смело сбрасывать со счетов, поскольку в отсутствие жены, ему было явно не до того...

...Проводив княгиню Анну на богомолье и оставшись один, князь Ферапонт-свет Пафнутьевич пустился, как и оно следовало ожидать, в очередной продолжительный загул. На неизвестно какой день затянувшегося пира, будучи уже длительно и весьма основательно упившись, князюшко по укоренившейся аристократической привычке начал слегка чудить.

Очнувшись за столом в кресле после короткого и тяжелого забытия, уже которые сутки заменявшего ему нормальный сон, князь Людовецкий неожиданно потребовал принести в трапезную всё, какое только в тереме сыщется, оружие огненного боя и перед тем его обязательно зарядить. Когда же его приказ, расторопными холопами был в точности исполнен, и рядом с княжеским креслом образовалась внушительная грудa всевозможного стрелкового оружия, Ферапонт Пафнутьевич выбрал из него аглицкий мушкет и вскочил с ним на стол.

Там он, картинно опершись на ствол мушкета, вдруг взял да и громогласно объявил, что, дескать, он есть ни кто иной, как недавно почивший в бозе князь Пожарский... и что сейчас он сызнава начнёт освобождать святую Русь-матушку от заполонившего её злого врага...

Все присутствующие на пиру гости, а проще говоря, княжеские собутыльники, до сих пор находившиеся в предвкушении очередного весёлого развлечения, при этих словах почувствовали себя как-то неуютно...

И на этот раз предчувствие их не обмануло...

А когда князь Людовецкий с кличем «бей проклятых ляхов» направил мушкет на сидящего по другую сторону стола тиуна Михрюткина (бывшего никаким не ляхом, а самым натуральным *жлобом*, типично русского происхождения), то гости княжеского застолья и вовсе с криками бросились из трапезной вон.

Вообще-то говоря, стрелком князь был неплохим (даром, что ли полжизни провёл на охотах). И несдобровать бы ни тиуну Михрюткину, ни прочим участникам застолья, если бы в заряженные стволы княжеского оружия кем-то из хорошо знавших княжеские замашки, дальновидно не были бы позабыты быть вложены пули.

А так... Бах... – и с опалённой порохом зарядом физиономией Антип Перфильевич упал спиной со скамьи, но, проявив завидное проворство, быстро вскочил на ноги, и сноровисто сиганув в окно, быстро скрылся в направлении родного Менговского острога...

Когда же дым от выстрела рассеялся, то в трапезной уже никого не было, кроме князя-воеводы, старательно выбиравшего из кучи разномастного оружия пистолеты и засовывавшего их к себе за пояс. Подскочив к выбитому Михрюткиным окну с двумя пистолетами в руках и ещё с тремя за поясом, князь-воевода лихо, как пират на вражеский корабль, вскочил на подоконник, трижды громогласно крикнул «ура» и открыл прицельную пальбу по бестолково бегающим во дворе холопам и дворовым девкам.

Стрельба по двору дала совсем неожиданный эффект. Один из выпучивших от страха глаза и истошно вопящих холопов, несясь по двору вприпрыжку, со всего разгона налетел на до сей поры мирно лежащего около сарая огромного хряка. Возмущенный хряк проворно вскочил на ноги и резво, как кабан на охоте, побежал к воротам терема, внося во всеобщий, время от времени прерываемый бабаханьем выстрелов страшный гвалт, свою лепту в виде пронзительного поросячьего визга...

Вид несущегося по двору визжащего хряка подействовал на князя-воеводу и вовсе престранным образом. Внезапно позабыв про Пожарского и про спасение Руси-матушки, он вдруг вообразил себя уже на охоте, где ему метким выстрелом довелось ранить дикого вепря. Поскольку заряды взятых с собой пистолетов им были уже расстреляны, то Ферапонт Пафнутьевич спрыгнул с подоконника обратно, при падении оступившись и больно ударившись головой. Мужественно снося боль, он вскочил на ноги и устремился было к груди оружия, дабы основательно довооружиться, но вот по пути...

...На пути князя-воеводы, прямо перед ним, вдруг возникла оскаленная морда того самого дикого вепря, и отважный князь, не имея возможности добраться до оружия, вынужден был героически вступить с ним в рукопашную...

Схватка была жестока... душа и разрывая противника руками, князь рычал, как раненый зверь и вгрызался в него зубами. Противник в ответ душил его своей массой и... не сдавался. А тут ещё он начал изрыгать из пасти какой-то дьявольский огонь отвратительно зелёного цвета, норовя обжечь им лицо отчаянно уворачивающегося от него князя...

Утомленный неравной борьбой и, находясь на последнем издыхании, князь Людовецкий всё-таки сумел собрать свои последние силы, обхватил супротивника обеими руками на удушьющий захват и, что есть мочи, сжав его в смертельном объятии, окончательно лишился чувств...

...Таким его поутру приехавшая с богомолья Анна Вастрицкая и обнаружила. Лежащим посреди разгромленного стола в обнимку с полуобглоданным и зверски истерзанным жареным кабанчиком, из пасти которого зеленел уже порядком увядший пучок петрушки.

...А вот ответ на то, почему князь при этом ещё оказался и без одежды, мог бы дать ну разве что какой-нибудь маститый психоаналитик. А поскольку до рождения Фрейда оставалось еще больше двух столетий, то сия тайна так и осталась навсегда прикрытой мраком...

Оглядев учиненный разгром, валявшееся по всей трапезной оружие и голого супруга, с застывшей блаженной улыбкой на устах прижимавшего к себе во сне кабанчика, княгиня тут же вполне адекватно оценила сложившуюся ситуацию. И не то видывали. Приходилось... Челяди, осмелившейся впервые за дни барского буйства вместе с хозяйкой наконец-то войти в трапезную, она велела прикрыть нагого супружника простышкой, взять его сердешного за руки и за ноги, и следовать за ней. Причем маршрут следования был всеми даже очень хорошо известен...

В подвале терема именно для таких вот случаев ею загодя было заготовлена специальная келья, в которой её дражайшая половина завсегда приходила в себя после подобных запоев. Интерьер кельи был более чем аскетический и состоял всего из трёх вещей: топчана с теплым одеялом, отхожим судном и с кадки квашеной капуста в рассоле.

Заботливо уложенному на топчан управителю южного воеводства, предстояло провести в этой, прямо-таки спартанской обстановке, как минимум два дня. При этом всё это время, ему, вместо привычного опохмеления, изготовленной по спецрецептуре медовухи, надлежало пробавляться только рассолом да хрустящей квашеной капусткой. Что и говорить, терапия более чем радикальная...

И выйти из кельи раньше отведённого срока измученный рассолом князь при всём своем желании никак бы не сумел. Поскольку обитая изнутри толстым ватным одеялом и окованная

снаружи железом дверь закрывалась на весьма крепкий замок, ключ от которого был в единственном экземпляре и хранился в потаённом месте у его строгой и непреклонной супруги...

В положенный срок раздался долгожданный скрежет ключа в замке, и к обезумевшему от рассола и капусты князю вошла княгиня Анна в сопровождении княжеского духовника. По опыту хорошо зная то, что именно за этим последует, князь-воевода смиренно опустился на колени и покаянно склонил свою покрытую похмельным потом лысину. Потом он, по заведенному порядку, покаялся в совершенных грехах, малоубедительно пообещал впредь их не совершать и в наказание за содеянное получил епитимию. Цельный месяц не прикасаться к проклятому зелью!

Князь Людовецкий обреченно вздохнул и покорно согласился...

И вот на следующее утро, кряхтя и горестно охая, с кубком клюквенного кваса в руке, князь-воевода наконец-то приступил к исполнению своих воеводских обязанностей. Маясь головной болью, с накинутой по случаю бьющего озноба на голые плечи царской шубой, он плюхнулся в кресло под распростёртые крылья державного орла, и слегка повизгивая, опустил голые ноги в бадью с теплым травяным настоем. После всего пережитого князю явно нездоровилось, и потому он лелеял тайную надежду, что изрядно подзапущенные государственные дела его сегодня, глядишь, и минуют...

Вместо отложенной на долгий месяц, благодаря епитимье, привычной медовухи, превозмогая лёгкое отвращение, князь пригубил из кубка душистого кваса. Вроде бы слегка полегчало, и глядя на склоненную к бадейке у своих ног дворовую девку, в нем даже стали проявляться робкие проблески интереса к жизни...

Но вот тут, как на грех, заявился этот треклятый Модеска и та-а-акого ему поведал...

– Анка-а-а, подь сюды, – продолжал реветь, разбрызгивая недопитый квас князь Людовецкий до тех пор, пока дверь в палату, наконец, не отворилась и в неё... Нет, не вошла, а белым лебедем, с гордо вскинутой на точеной шее головой рафаэлевской мадонны, грациозно всплыла Анна Вастрицкая. Князь-воевода набычился и уставился на свою жену долгим тяжёлым взглядом повидавшего виды человека...

– Та-а-а-к... сказывали тута мне, что ты надьсь грамотку кому-то отписывала... Истина сие, али как? Ответствуй! А не то... а не то, будет оно аки в писании сказано: «... да убоится жена мужа свово!». – И брови князя грозно сошлись, на изрядно оцарапанной в той кабаньей битве переносице.

– А то мы уже и мужа свово не шибко «убоимся», да чуть что, так и в келью его... – при этих свежих воспоминаниях лицо князя-воеводы нервно передернулось, и во рту явственно почувствовался вкус капустного рассола. Судорожно отхлебнув кваса, он продолжил. – Значица, супруга в келью, с глаз долой, дабы не мешался, а сами тотчас того... хватъ перо и шастъ цидульки писать... Кому интересно? Уж не ханчику ли татарскому? И уж не сердечного ли умысла *цидулька*-то сия? – С расстановкой произнёс князь Людовецкий, непостижимым образом сумев в одном, устремлённом на княгиню взгляде воедино соединить угрозу, вопрос и мольбу...

Надо сказать, что выдвинутое князем в адрес своей супруги обвинение насчёт «сердечного умысла», было более чем серьёзно. Это в просвещенной Европе семейным людям «иметь амуры» считалось признаком хорошего тона, а на Руси семнадцатого века сие было весьма предосудительно, если не сказать больше. Это потом, уже после Петровского «прорубания окна в Европу» в патриархальную Россию хлынут распущенные нравы «галантного века», а пока...

Пока же за супружескую измену могли и палачу под кнут отдать, а могли и вовсе насильно в монастырь упечь...

Да что там говорить, если и сам князь-воевода, при всей своей бесшабашности и разгульности, свято почитая старинный уклад русского домостроя, своей благоверной супружнице не в жисть не изменял (банные утехы с девками в расчёт не принимались). А тут... благочести-

вая православная княгиня, да ещё и с басурманином... да ещё и с ханом недружественного государства...

В общем, от ответа княгини зависело весьма многое, но гордая Анна Вастрицкая, не удосуживая князя-воеводу ни ответом, ни даже взглядом, только надменно вскинула вверх свою насурьмяненную бровь. Величественным жестом она вытащила из рукава сарафана свёрнутую в свиток бумагу и брезгливо швырнула её на голые колени мужа, чуть было не уронив её в бадью с горячей водой. Проворно поймав и развернув грамотку, воевода жадно впился в неё своими красными, от перенесенных потрясений здоровья, и обильно слезящимися глазами...

– Так, ага, что? Какой ещё «Делагарди?», а... энтот... тот самый... а причём здесь он? А где же Бехингер-хан? Ага... вот и он... татарин немытый... так, погодь... так это ты тута прошишь свово свейского дядьку... а об чем? Ага вот оно. – Путаясь от охватившего его волнения, произнося слова раздельно и по слогам, князь-воевода с превеликим трудом медленно прочёл вслух, старательно шевеля напухшими губами:

«А понеже на наше Воронежское воеводство вдруг ворог лютый возьмёт, да и нападение учинит, а Москва при сём помощь прислать не сможет, то прислать бы тебе нам в помощь надобно б свейского воинского люду, числом поболее. А ворогом, коей сие злодейское нападение учинить долён, может поначалу статься ногайцив орда Бехингерханова. Сие ведаю доподлинно, поелику о сём он мне сам и глаголил и свершает он сие по гнусному наущению дьяка нашего Модески. В том сомнений у меня нимало нет. И по его же наущению, аки разумею я, что опосля нечестивой орды должна аще на наше чело свалиться и иная поруха, аки супротив ногаев паче полютее станется, а именно ляшская коронная рать...».

– Да ты что... княгинюшка, совсем что ли рассудком помутилася? Какая орда, какие ещё ляхи со свеями? Причём здесь Модеска, Бехингер-хан да аще и энтот Делагардия? – Недоуменно глядя на супругу, пробормотал по прочтении послания князь-воевода. После многодневного загула, последующего затворничества в келье, да ещё и при наложенной епитимье (будь она неладна), охватить воедино, осознать прочтённое, да еще и дать ему политическую оценку государев муж был уже никак не в состоянии.

А между тем, изложенная в письме княгини политическая интрига была достаточно проста и уходила своими корнями опять в то самое Смутное время...

Дело в том, что в те лихие времена интервентами русской земли выступили сразу два европейских государства – Польша и Швеция. Как известно, первая преуспела на этом поприще гораздо больше, сумев даже занять Москву и при этом на полном серьёзе собиралась ставить на царский русский престол – то ляшского королевича Владислава, то самого круля Сигизмунда.

Успехи же скандинавской стороны были куда поскромнее, и, в общем-то, особых преференций Швеции не сулили. Но тут лидер первого русского ополчения, думный дворянин по фамилии Ляпунов, вдруг проявил недожинные дипломатические способности, решив сыграть на объективно существующих разногласиях между шведской и польской короной. И по всей вероятности, он имел своей целью привлечение шведов на русскую сторону. Дело-то в принципе правильное, только вот, видимо, от чрезмерного дипломатического усердия Ляпунов возьми да и «ляпни», что, дескать, разогнав поляков, на русский престол надо будет непременно посадить... шведского королевича...

Шведы изумились... и обрадовались. До сих пор они скромно полагали в мутной водице русской Смуты, ну отторгнуть, например, от Руси города Ям с Копорьем и Орешком, ну там прихватить Карелию с Соловецкими островами, а тут эти русские вдруг возьми, да им ещё и престол предложи...

Да еще тем самым, нежданно-негаданно, создав у Шведской короны перед поляками дополнительное политическое преимущество. Вволю поизумлявшись и порадовавшись, шведы, вопреки ожиданиям Ляпунова, очертя голову сражаться с ляхами за русский престол

для своего королевича отнюдь не бросились. В полном соответствии со своим скандинавским менталитетом, взвесив все «за» и «против», шведы прагматично решили лишь максимально использовать свалившееся на них с неба политическое преимущество, а потому пошли и... захватили Новгород со всеми его землями. Тем самым довершив дело своих предков – викингов, издавна лелеющих мечту о захвате под своё крыло «Хольмгарда», который они не без оснований полагали богатейшим городом «Гардарики».

Непосредственно же руководил всем этим бравый генерал шведсконаёмного воинства Яков Делагарди. Выходец из «ошведенных» французов (то есть французов, ставших шведами), отец которого еще воевал с Иваном Грозным во время Ливонской войны. Именно он и стал, правда, на весьма недлительное время, говоря языком викингов – *ярлом* Хольмграда, то бишь правителем Господина Великого Новгорода и всей Новгородской земли.

Будучи человеком умным, Делагарди ясно осознавал, что столь редкостная удача, как оказаться правителем такого богатейшего края, свалилась на него исключительно волей случая, и перефразируя на скандинавский манер известную восточную поговорку, он является «ярлом на час». А потому ему надо спешить, используя этот дарованный ему «час» с максимальной выгодой. Причем как для интересов Шведской короны, так и непосредственно для клана Делагарди. И вот тогда из далёкого Стокгольма им была оперативно выписана родная сестра Индигирда, которую он быстренько сосватал за одного из представителей местной знати – молодого и удалого новгородского князя Аристарха Вастрицкого.

Приняв православие и выйдя замуж, шведка Индигирда Делагарди быстро превратилась в Ирину Вастрицкую. В любящую и искренне любимую жену настоящего русского князя, а крёстным их первенца Анны даже пожелал было стать сам братец княжеской жены генерал Делагарди, да вот только расхождения веры ему этого не позволили. Так что была княгиня Анна Вастрицкая, вдобавок ко всему, по матери еще и Делагарди.

Кстати, для князя Людовецкого, как известно, весьма гордящегося своим, восходящим ещё к Рюриковским временам варяжским происхождением, именно наличие скандинавских корней у потенциальной супруги сыграли решающее значение при её выборе. Только если для князя-воеводы сноситься в Скандинавии за давностью лет было абсолютно не с кем, то у княгини Анны там были очень даже реально существующие и при этом весьма влиятельные родственники. Родственники, испытывающие к своей далекой кровинушке, живущей в этой «дикой Гардарике», вполне даже нормальные родственные чувства, и к которым в случае острой необходимости не зазорно было бы и обратиться за помощью...

А именно сейчас, по мнению княгини Анны, такая острая необходимость и назревала.

Уповая на зов крови и призывая в случае беды на помощь своих шведских родственников, княгиня Анна имела вполне прагматичный расчёт, основанный на существующих геополитических реалиях. Уже после её рождения, и даже после избрания русским царём Михаила Романова, родному дядюшке княгини генералу Делагарди, ещё где-то с пяток лет довелось всё-таки пообретаться на богатой русской земле. А впоследствии, как оно ранее им же дальновидно и прогнозировалось, его правление окончилось тем, что brave потомки викингов под напором русской силы вынуждены были отдать Хальмгард и прилегающие земли обратно их исконным владельцам.

В результате, достаточно скромными территориальными приобретениями шведской короны, официально закрепленными условиями Столбовского мира 1617 года, оказались лишь Ижорская земля и «Корельский уезд». То есть земли будущего Петербурга и Карелии. Правда, с самими карелами случился досадный конфуз... Не желая жить под шведами, будучи городами и недвижимым имуществом особо не обременёнными, карелы в большинстве своём взяли да... и ушли в русские владения, так что править королю в приобретённом крае стало практически некем. С Ижорской же землёй в плане правления тоже было не сильно богато,

поскольку ижорцы, вепсы да и прочая «чухня белоглазая» ввиду своей исконной природной бедности особого дохода шведской короне также никак не прибавили.

Но зато шведы надёжно и почти на целый век лишили Россию выхода к Балтийскому морю. Впрочем, с этим «балтийским» вопросом ещё предстоит будет детально разобраться внуку нынешнего Русского государя...

А пока же, лет за сорок до рождения Петра Великого, в Европе уже давно бушует война, впоследствии из-за своей длительности получившая название «тридцатилетней». В ней воюют практически все европейские государства, причём те из них, кто не имеет возможности воевать за свои интересы, вынуждены воевать за чужие. И естественно, сохраняя верность традиции векового противостояния, в рамках этой всеевропейской войны, периодически воюет и Польша со Швецией.

Чем эта война закончится, как локальная польско-шведская, так и глобальная тридцатилетняя, пока ещё неизвестно. Может быть и вовсе ничем (кстати, практически так оно в конце концов и получилось), только вот рационально использовать вечные разногласия между Шведской и Польской короной для русской дипломатии уже стало доброй традицией. И опять-таки, если уж суждено будет югу Руси, стараниями вероломного Ришельевского-Гнидовича быть завоёванным, то лучше уж не злыми поляками, а хотя бы... теми же благородными шведами...

Да и народ сие обязательно поддержит, рассуждала Анна Вастрицкая – вон ляхи, пока в Москве владычествовали, каких только злодейств не натворили... вплоть до людоедства. А свои в Новгороде вроде бы и ничего, особо не злобствовали. А дядюшка Делгарди, так тот и вовсе душка, свою любимую племянницу, по младости её на колене обтянутым ботфортом качал и даже давал играть эфесом своей генеральской шпаги... Так что, ежели станет перед княгиней да и всем Воронежским людом извечный русский выбор, то, как говорится, из двух зол...

И опять-таки, рассуждала княгиня, ежели всё же поляки Воронежское воеводство от Руси отторгнуть и сумеют (что вполне даже вероятно), то ещё не факт, что они смогут его при себе удержать. Как известно, ляшский круль в наших азиатских делах не шибко разбирается. Вон – ногайского хана подкупили и рады радешеньки, да ещё мнят себе, мол, как ловко они восточных хищников в своих интересах используют... А вдруг да на обессиленный сначала ногайцами, а потом и поляками край, возьмёт, да и внезапно нападёт всей своей мощью Оттоманская Порты? Вот на Русь, по крайней мере, пока Турецкая империя открыто нападать не решается, а ежели Руси здесь не станет?

И вот именно тогда шведская помощь для отторгнутых от Московии русских людей им и вовсе благом покажется. Потому как хуже, чем под турками оказаться, христианину и представить трудно...

Руководствуясь подобными соображениями, дальновидная княгиня загодя готовила почву для отпора западно-польской экспансии, заменяя её более мягкой (как ей казалось) северо-скандинавской. Ну и, кроме всего прочего, приход шведов гарантировал ей лично и её дражайшему супругу сохранение как жизни, так и положения в обществе, а сие тоже весьма даже немаловажно... Потому и написала она письмо своему милейшему дядюшке – шведскому генералу Делгарди. Только вот дражайший супруг, князюшко-воевода, прозорливость своей супруги по достоинству вряд ли оценит...

– Да, дела... – задумчиво протянул князь Людовецкий, оставляя безуспешную попытку уяснить всё политическое хитросплетение послания, но зато чётко уловивший для себя самое главное. То, что Бехингер-хан упоминается в письме исключительно в «политической» аспекте, а отнюдь не любовном. – А мне-то, Модеска нынче наплёл-то всякого, даже и повторять-то срамно... Видать, ошибся паршивец, ну, уж я ему и задам...

– Так это Модест Зорпионович тебе насчёт грамотки-то подсказал? – впервые разомкнула уста княгиня Анна, – и ты ему, как всегда водится, поверил?

– Дык... аки тебе сказать...

– Да... и сие есмь русский князь... потомок соратника Рюрика... – окатив супруга холодным взглядом синих скандинавских глаз, пренебрежительно бросила Анна. – Вот ты, княже, книги чтеть зело не любишь, а напрасно... Чёл бы древних эллинов, и тады ведал бы, что егда к Юлию Цезарю евойный «Модеска» с тем же наветом на цезаринскую жену подкатился, то тот ему вот как ответствовал, мол: «жена Цезаря вне подозрений». А посему и от того злого навета, никакого урону цезарской чести нанесено бысть не можно, а ты... – укорила мужа примером из хрестоматийной античности образованная княгиня Анна.

– Аннушка, прости Христа ради... бес попутал...

– Не бес, князь-воевода, тебя попутал, а Модеска Ришельский даром, что Гнидович... Впрочем, он, ежели разобратся, то тот самый окаянный бесяка и есть... Ну, а ещё что он тебе присоветовал?

– Дык присоветовал, что, дескать, дён через десять к нам должны будут проездом послы от османского султана заехать с энтим... ну, как его... Фомой Ката... Канта... тьфу, язык сломаешь, Кантакузенном.

– Ну и что ж? Ну, заедут и заедут... – недоуменно пожала плечами Анна.

– Дык, егда ж те послы прибудут, то мы ж для них, как оно завсегда водится, пир учиним... – при упоминании о пире лицо воеводы омрачилось. – Правда, я эйто... на епитимье аще буду... Потому мне Модеска Ришелькин и посоветовал тех послов не столом ублажать, поелику всё одно оне басурмане непьющие, а скоморохами и плясками... тем паче, что главный их посол, аки сказывают, есмь до плясового дела бо-о-ольшой охотник...

– Плясками... – задумчиво протянула княгиня, заслуженно прославившая на весь край великой плясуньей, и потому всегда их любившая. Но сейчас, зная о том, что инициатива танцевальных увеселений исходит от её злейшего врага Ришельского, она справедливо ожидала подвоха. И вот дождалась...

– И чтобы на тех плясках ты б, княгинюшка, непременно отплясала б предо басурманами, всё ж таки оне послы как никак будут и к самому государю нашему направляются. И чтобы сплясала ты в том самом злаченном кокошнике, какой на тебе на пиру с ногайцами был. Ну, тот самый, с яхонтовыми чикиликами... И чтобы на кокошнике чикилики были... обеи...

Ведь чикилики те зело старинныя, ещё цареградской работы. И привезены оне тебе были из Турции, а посол ихний, энтот Ката... кузя... ну, Фома, в общем, бают, что еллинского происхождения и есмь. Причём родом из того самого Царьграда. То-то он зело доволен будет узреть на русской княгине цареградские яхонты... А дюже понравятся те чикилики ему, так мы ему их в дар со всем почтеньем и приподнесём, яко память об христианском ампиракторском Царьграде...

А он пушай за энто царю при случае словечко за нас замолвит... чай, сие нам не помешает... а мы тебе, княгинюшка, взамен энтих чикилик другие, аще постариннее справим, вон вскорости персиянский караван через воеводство проследовать должён, так мы с них и истребуем...

Последние слова князя уже плохо доходили до сознания княгини Анны. Собрав всю свою волю лишь для того, чтобы только не показать вида о том, как её взволновало сообщение об яхонтовых чикиликах, она согласно кивнула головой. После чего как ни в чём не бывало, ну разве что только заметно побледнев, княгиня Анна ровным шагом шествующей на эшафот королевы спокойно вышла из княжеской палаты.

По счастью, князь-воевода, продолжавший самозабвенно бубнить что-то про послов, грядущий пир, епитимью, и возможный в связи с этим дипломатический скандал, внезапно наступившей бледности лица своей дражайшей княгини так и не заметил...

## Опять "шерше ля..." или Костянка Бонашкина, как первая русская фрейлина

Между тем Ермолайка Дарташов из рода Дартан-Калтыка, сменив вольную жизнь на просторах Тихого Дона и став государевым затинным пищальником, со всей пылкостью и азартом своей казачьей натуры, с головой окунулся в царскую службу...

...Ба-бах... и посланный умелой рукой стрельца, винный кувшин вдребезги разлетелся от удара об стену.

Как раз в том месте, где только что находилась Ермолайкина голова и, не причинив ему особого вреда, осыпал его градом керамических осколков. Уходя от удара кувшином, Дарташов не стал отклонять голову в сторону, а упал спиной на выставленные назад руки, в падении бросив вперёд свое тело с одновременным выбросом правой ноги для удара по ноге противника. Этот удар, называемый «ползунец», был занесён на Дон черкасами, очень любившими его применять во время боя на саблях или *спысах*.

Правда, ни сабли, ни тем более спыса сейчас в руках Дарташова не было. Да если бы и был, то вряд ли бы сейчас Ермолайка имел возможность его с успехом применить, действуя в условиях тесноватого кабака. В котором, в полном соответствии с установившимся порядком вещей, как-то под вечер между бузотёрами и случайно оказавшимися там ришельцами вспыхнуло очередное межведомственное столкновение.

Ну, а поскольку особых причин для сражения, кроме самого факта случайной встречи в стенах одного и тоже питейного заведения, в общем-то, и не было, то дрались не особенно злобно и безоружно. Только кулачным боем и с частичным использованием оказавшихся поблизости вспомогательных предметов. Причём использовать их предпочитали, в основном, ришельцы...

– ...А-а-а-у... – взвыл бросивший кувшин ришелец, после того как выброшенная при «ползунце» нога Ермолайки угодила ему подошвой в голень, впечатавшись пяткой чуть ниже коленной чашечки. «Врёт» – подумал Ермолайка, «от мягкой ичиги, да ещё и приложенной наркомом пониже колена так не орут». И одним рывком вскочивши с пола на ноги, для пущей надёжности коротким замахом левой ноги врезал орущему ришельцу носком ичиги в живот поверх Кушака. Ришелец поперхнулся, согнулся надвое и, держась за живот, грузно осел к его ногам. «Вот теперь по правде будет...» промелькнуло в голове Ермолайки.

Перепрыгнув через поверженного неприятеля к следующему противнику, он оказался лицом к лицу перед дюжим ришельцем чрезвычайно высокого, прямо-таки под стать Опанасу, роста. Который с натугой, обеими руками поднимал вверх тяжеленную дубовую скамью, с явным намерением обрушить её на Ермолайкину голову...

«Ничего себе подручное средство» – молнией пронеслось в голове Дарташова и, не став испытывать судьбу, для страховки выставив согнутую в локте руку над головой, он резко присел на левой ноге. После чего совершил, очень популярную в казачьем воинстве круговую «косу», для чего приседая, Ермолайка отставил в сторону правую ногу и крутнулся вокруг своей оси на согнутой левой. Выставленная в сторону правая нога, с легким шелестом просвистев над полом, в конце своего пути встретила с разлапистой ступней стрельца...

Так что опустить скамью на Ермолайку ему уже было никак не суждено, поскольку с грохотом уронив скамью себе же на голову, он рухнул вниз, будучи буквально подкошенным ударом казачьей ичиги об болезненную косточку на своей щиколотке. Всё правильно, на то она и казачья *коса*, чтобы от неё все, как снопы подкашивались, именно за это замечательное качество её донцы так и любят...

Стоящий чуть поодаль от Дарташова Опанас Портосенко сейчас крутил свои знаменитые «колоброды» исключительно голыми руками, время от времени весьма весомо, подкрепляя их молниеносными ударами своего пудового кулака.

«... Бум...» – и получивший короткий, но чрезвычайно мощный тычок кулаком в грудь, стрелец отлетел назад и, сметая посуду, упал спиной на соседний стол, насмерть перепугав трапезничающих за ним каких-то посадских.

«...Хрясь...» – и выполнявшее вертикальную восьмёрку предплечье Опанаса звучно врезалось в плечо рিশельца, намеренно угодив чуть в сторону от ключицы (пожалел-таки русского стрельца Портосенко, не стал ломать ему тонкую ключичную кость)...

– ...О-о-ох... – издал протяжный стон рিশелец, держась за ушибленное плечо и потеряв всякую охоту к продолжению боя, задом попятился в сторону спасительной двери...

В общем, бой был скоротечен, откровенно незлобив и окончился полной и безоговорочной победой бузотёров.

При этом сидящие в продолжение всей схватки за уставленным питьём со снедью столом Затёс с Карамисом, так те даже так и не удосужились встать и прервать свою беседу, не отвлекаясь на такой пустяк как драку, всего-то с четырьмя рিশельцами. Впрочем, оно и понятно, поскольку такая драка и не драка вовсе, а так... бытовой эпизод казачьей жизни и не более того. Тем более, что такого малого количества противника и для двоих-то казаков надолго не хватит...

Вернувшись за стол и как ни в чём не бывало закончив ужин, Дарташов тепло распрощался с друзьями и спокойно направился к себе домой.

Надо сказать, что поскольку Ермолайка, в силу известных обстоятельств, в сотнях городских казаков пока ещё не значился, то и жить ему, увы, в казачьем стане батьки Тревиня, где обитало большинство неженатых казаков, пока ещё было заказано. Потому и приходилось ему тратиться на жильё, снимая комнатку на постоялом дворе у того самого трактира, в котором они только что вместе с друзьями столовались.

Хозяином постоялого двора и одновременно кабацким целовальником являлся некий *посадский сиделец* Бонашкин, прибывший в Воронеж из далекой Мордовии лет десять назад, а звали его и вовсе для южнорусских мест непривычно – «Мокшей». И надо сказать, что это, казалось, так и отдававшее чем-то неуловимо лесистым и водянистым имя, как нельзя лучше соответствовало всему его облику. От жидких бесцветных волос с редкой бородёнкой, до юрких водянистых глазок на широком плоском лице.

Прибыв в Воронеж, Мокша первым делом направился к князю-воеводе, где после долгих усилий добившись высочайшей аудиенции, он, представ пред очами Людовецкого, отрекомендовался ему ни много ни мало, а «мордовским князем Бонашкиным». И, дескать, раз он тоже, как и сам воевода, является носителем княжеского титула, то, следовательно, среди прочего Воронежского люда, особо княжескими персонами не избилующего, он единственный и является воеводе ровней, а потому и требует к себе соответствующего обхождения. В доказательство своего княжеского достоинства Мокша предъявил какие-то древнемордовские письма на берестяных грамотах.

Подобной постановке вопроса князь-воевода был искренне изумлён и, окинув недобрый взглядом новоявленного «мордовского князя», предоставленную ему бересту читать наотрез оказался. Дело в том, что, вообще-то, не являясь особым любителем путешествий, именно в Мордовии Ферапонту Пафнутьевичу бывать как раз-то и доводилось. Ещё во времена Русской Смуты, будучи выюношей «призывного возраста», именно туда молодой княжич Людовецкий, чрезвычайно обиженный на то, что не ему предстоит возглавить собирающуюся рать и покрыть себя неувядающей славой, из Нижнего Новгорода и скрылся. Дабы, схоронившись в непроходимых мордовских лесах, не попасть в ополчение Минина и Пожарского.

Как бы там ни было, а мордовские порядки ему были хорошо знакомы, и потому он в весьма популярной форме объяснил претенденту на принадлежность к высшему обществу, что никакой он вовсе не князь, а всего лишь... мордовский *панок*. И потому никакая он ему – родовитому русскому князю не ровня!

Ну, а что касается особого, с его воеводской стороны, обхождения, то заключаться оно может, ну разве что в том, что вот сейчас, к примеру, воевода может его помиловать да и... не выпороть...

Потом, сменив гнев на милость, князь-воевода добавил, что, поскольку всё-таки Мокша не смерд и не холоп, а как ни крути, а всё ж таки цельный панок, то в Воронеже он смог бы иметь статус, к примеру, посадского сидельца. Да при том ещё, что в принципе не исключено и цельным кабацким целовальником стать... Но это уже только в том случае, ежели он поймёт всю щедроту воеводского благоволения и по достоинству её оценит, сделав правильные выводы относительно своей будущей кабацко-целовальной деятельности...

Трезво взвесив все «за» и «против», неудавшийся князь из далекой Мордовии решительно отставил в сторону свою «панковскую» спесь. От природы обладая большой практической сметливостью, Мокша быстро «всё понял», «по достоинству оценил» и выводы сделал исключительно «правильные». Вот и стал мордовский панок держать русский трактир в самом центре Воронежа, приколотив для пущей солидности к стене над кабацкой стойкой свою берестяную, исцарапанную неведомыми письменами грамоту.

Ну, трактир трактиром, а как гласит народная мордовская (и не только мордовская) мудрость: «Без доброй жонки оно и хозяйство – не хозяйство». Потому, крепко став на ноги, наш мордвин быстро отыскал бывшую на выданье девицу и, предварительно заполучив за неё весьма неплохое приданое (на что он впоследствии к трактиру постоянный двор и пристроил), с превеликим удовольствием на ней оженился. Кроме доброго приданого, девица, ставшая женой Мокши Бонашкина, обладала ещё одним замечательным качеством.

Она была настоящей русской красавицей. Той самой... кареглазой и чернобровой, с алым румянцем на ланитах... с русой косой до пояса толщиной в руку... с лебяжьей шеей и гибким станом. Ну, а то обстоятельство, что откровенно плюгавый, и своей статью на «добра молодца» никак не тянувший Бонашкин только до плеча своей жене и доставал, лично его беспокоило чрезвычайно мало. Ну, а её... а что её? На то она и баба, чтобы её мнением никто даже и не поинтересовался. Да и «нечего тута харчами перебирать», пусть и плюгав, и неказист, «зато непьющий и домовитый»...

Новоиспеченная трактирщица Бонашкина к далёкой Мордовии никакого отношения не имела, а была местной уроженкой, родом из самого древнейшего поселения Воронежского края, носящего название «Костёнки». Из села, на месте которого в незапамятные времена было древнее городище, и люди в котором жили испокон веков, ещё задолго до не то что основания самого воеводства, но и даже до образования русского государства.

Да что говорить, если в уже достаточно просвещенные Петровские времена бытовала научная версия о том, что, дескать, именно до Костёнок дошёл со своими войсками Александр Македонский. Причем дойти-то он дошел, а вот преодолеть Костёнок он уже никак не сумел и всё потому, что наиболее ударная часть его войска, а именно его боевые слоны, здесь неведомым образом все и передохли. А может, их древние костёнковцы геройски перебили... В пользу данной версии неоспоримо свидетельствовали многочисленные огромные кости диких животных, в изобилии находящиеся по всей округе.

Правда, в допетровские времена у местных жителей по этому поводу существовала совсем другая и менее горделивая версия. Что, дескать, жил здесь когда-то диковинный зверь по имени «Индра» – настоящее чудо-юдо. И что решил он как-то (непонятно зачем) выпить всю воду из Дона. Пил, пил да и... лопнул... разбросав повсюду свои огромные кости...

Справедливости же ради отметим, что уже в наше время современная наука доподлинно установит, что кости эти принадлежали не мифическому «индре» и даже не боевым слонам Александра Македонского (который, кстати, самолично эти края никогда и не посещал), а... самым обычным мамонтам. Тем самым, на которых жившие на этом месте в эпоху позднего палеолита люди весьма интенсивно охотились, чем процессу аккумуляции в данной местности запасов мамонтовой кости, видимо, и поспособствовали.

Так что, как ни крути, а село было древнейшее, и кости там испокон веков почитали. Потому и повелась там одна славная традиция, согласно которой все его жители, волей судеб оказавшиеся «по жизни» вне Костёнок, носили древнеславянское имя «Костян» – для мужчин, и соответственно, «Костянка» – для женщин. Так и жили. При этом в Костёнках они пользовались именами полученными по святцам, а, уходя из него, в память о своей малой родине, все становились исключительно Костянами. Соответственно и жена Мокши, будучи при крещении наречённой Ефросиньей, в Воронеже, сохраняя верность традиции, стала не Фросей, а Костянкой Бонашкиной.

Так уж получилось, что по воле судьбы Костянке Бонашкиной не суждено было длительное время заниматься исключительно трактирными делами, куда её благоверный супруг хозяйственно вложил всё полученное от неё приданое. Дело в том, что её появление в Воронеже по времени практически совпало с приездом туда же из Новгорода новой воеводской жены Анны Вастрицкой, произошедшее после того, как старая жена князя, не выдержав всех тягот воеводского супружества, добровольно ушла в монастырь.

Оказавшись на новой месте и вдоволь насмотревшись на полудикие воронежские лесостепи, молодая княгиня сделала для себя крайне неутешительный вывод. Да... это далеко не Швеция, и даже не родной Новгород, который, как известно, к европам несколько поближе Воронежа будет, и оттого чуть поцивилизованней...

Оторванная от своего привычного окружения, да ещё и с таким, мягко говоря, беспокойным муженьком, княгиня Анна откровенно загрустила, всё больше и больше впадая в глубокую депрессию. И неизвестно, чем бы закончилась для неё эта хандра, вполне возможно, что тем же самым монастырем, если бы в голову Анны, женщины вообще-то говоря весьма волевой и далеко не глупой, не пришла одна замечательная мысль. Для отвода грусти-печали ей просто-напросто необходимо было обзавестись подружкой, или на худой конец, хотя бы сподвижницей, с которой она могла бы постоянно общаться, доверяя ей все свои женские секреты. Да только где ж такую сыскать?

Мало того, чтобы была не глупая, да ещё чтобы была надежная и не проболталась кому по извечной бабской дурости. Все представительницы тогдашнего «Воронежского бомонда» на роль доверительниц женских секретов решительно не годились и были Анной с ходу отвергнуты, а водить дружбу с челядью русской княгине, пусть даже и весьма прогрессивной, было всё-таки зазорно. Взять же в услужение себе вольную женщину, оно, конечно, тоже было можно, только по закону, заведённому еще Борисом Годуновым, прослуживший на хозяина более полугода, автоматически становился его холопом (шустёр был Бориска, ничего не скажешь...). А холопок у княгини Анна и так было более, чем предостаточно, а душа жаждала иного...

Тут, как-то раз, бегая по своим кабацким делам, при воеводском дворе объявился Мокша Бонашкин. Неведомо как разнюхав ситуацию насчёт княгининых чаяний и подмазав кого надо, он сумел ввести на женскую половину воеводского терема прямо перед холодными шведскими очами Анны Вастрицкой свою женушку. При этом Мокша руководствовался исключительно меркантильными соображениями, прагматично рассудив своим сметливым умом, что иметь своего человека при власти предержавших весьма даже неплохо. Особенно, если ты являешься кабацким целовальником и содержателем постоялого двора в такой непредсказуемой стране, как Россия семнадцатого столетия.

Костянка княгине откровенно понравилась. Умна, красива, не болтлива. А самое главное, под юрисдикцию Борискиного закона «о полугодовом холопстве» не попадает, поскольку пусть не боярыня и даже не дворянка, а всё ж таки, как-никак, а какая-то «панчиха». Пусть и не сильно понятно, что такое, а всё оно как-то к дворянству поближе... А раз к дворянству поближе, то значит и от холопства подальше. Так и стала Костяна Бонашкина сначала княжеской горничной девкой, а потом, по мере сближения с княгиней, кем-то наподобие фрейлины. Её так княжеская челядь и называла – «княгинина фрэлька».

Надо сказать, что сами фрейлины, как таковые, официально появятся на Руси ещё лет, этак, через семьдесят. Пока же на женских половинах княжеско-боярских теремов принято было обходиться «девками». А девка, как известно, она девка и есть. Одно слово – холопка...

Так что, стремясь по зову своего полушведского сердца к введению в этих полудиких краях хоть какого-то подобия европейских порядков, княгиня Анна совершала явное новаторство и значительно опережала время. Но в данном случае новаторство оказалось вполне удачным, и по прошествии времени, она никогда не пожалела о том, что когда-то нашла в себе мужество проявить невиданный либерализм – приблизить и сделать своей «фрэлькой» простую русскую женщину из воронежского села Костёнки. Поскольку более преданной, если и не подружки, то во всяком случае сподвижницы, она и представить себе не могла. А уж Костянка-то, так та и вовсе в своей ненаглядной «княгинюшке» души не чаяла, и отдавая ей всю щедрость своей доброобильной русской натуры, всегда была готова костями лечь, защищая её интересы.

Но «фрэлька» «фрэлькой», а жила Костяна Бонашкина всё-таки не в княжеском тереме, а, как оно мужниной жене и положено, у себя дома. То есть в пристроенной к постоялому двору избе-пятистенке, рядом с которой квартировал бравый Дарташов из рода Дартан-Калтыка. Будучи молодым красивым парнем, он неоднократно заглядывался на красоту хозяйской жонки, искренне недоумевая, как это такая красавица может жить с таким мухомором.

Воспитанная, как и большинство русских женщин в строгих правилах русского домостроя, Костянка, естественно, была верной супружницей своему опостылевшему Мокше, но при этом (чего греха таить), изредка украдкой вздыхала, заглядываясь на квартировавшего у них молодого стройного казака с такими не по-юношески широкими плечами... Да еще такого кудрявого и синеглазого... но... домострой есть домострой...

Вот так безответно и протекало первое большое чувство Ермолайки Дарташова.

Вот и сейчас, возвращаясь после ужина и лёгкой драки с ришельцами к себе на постой, он специально прошёл с десяток шагов в сторону, дабы, якобы случайно пройти мимо хозяйской избы, с тайной надеждой случайно встретить там предмет своих воздыханий. И тут...

Ермолайка с удивлением обнаружил, что дверь хозяйской избы была настежь распахнута, и из глубины избы раздавался отчаянный женский крик о помощи, перемежающийся шумом борьбы и звоном битой посуды. «Видимо, это перст Божий» – молнией пронеслось в голове Дарташова и, перекрестившись, он, не колеблясь, шагнул в распахнутую дверь...

Увиденное потрясло его до глубины всей его казачьей души. Посреди богатой, зажиточной избы кабацкого целовальника в растрепанном виде стояла красивая женщина, и с криками бросаясь всякой домашней утварью, тщетно пыталась отбиться от осаждавших её двоих мужчин чрезвычайно мрачной наружности. Дальнейшие действия Ермолайки уже были понятны, поскольку растрепанной женщиной являлась не кто иная, как сама Костянка Бонашкина. То есть предмет его тайных воздыханий, а мужчинами – самые натуральные истцы в красных котыгах Ришелькиного разряда.

То есть вот они, что называется налицо – ненавистные вороги всех казаков, да ещё и посмевающие покуситься на самое для него, для Ермолайки, сокровенное...

– Ужо я вам зараз задам... – и лицо Дартан-Калтыка недобро посуровело...

– А табе, казачура, чаво здесь надобно? – услышал Дарташов обращенные к нему слова одного из истцов. – Ступай-ка ты вон отседава, да пошибчее, а то мы здесь не абы как, а по государевой службе сыск учиняем, а ты нам в сём зело препятствуешь...

Услышав от истцов про государев сыск, Ермолайке, как добропорядочному и законопослушному казаку, на этой самой государевой службе обретающемуся, по всем законам Русского государства, надлежало немедленно ретироваться. Да при этом ещё и сделать вид, что ничего особенного, мол, и не случилось.

Так... заглянул случайно... узнать, может, какая помощь требуется? И окажись на его месте кто иной, именно так бы он и поступил, но только не Ермолайка Дарташов из древнего казачьего рода Дартан-Калтыка...

– Что стоишь, аки аршин проглотил? – с этими словами второй истец, крадучись бочком, незаметно приблизился к Дарташову на расстояние в пять шагов, повернул к нему своё одутловатое лицо, и пытливо впился в него своими красноватыми глазками.

Видимо, так и не прочитав в суровом казачьем взгляде ничего для себя утешительного, истец пошёл на тактическую хитрость. Для чего он широко раскинул руки и попытался изобразить на своем испитом лице какое-то подобие добродушной улыбки. В результате получилась исполненная коварством отвратительная гримаса, заставившая Ермолайку ещё больше внутренне собраться и подготовиться к грядущему бою...

Предчувствие прирожденного воина и на этот раз его не обмануло. Сделав в направлении Дарташова еще пару шагов, истец, как бы случайно, свёл вместе раскинутые перед тем руки, и тут из левого рукава его красной котыги его правой рукой внезапно был выхвачен нож. Лезвие ножа, оказавшегося в опасной близости от Ермолайки было обоюдоострое и на конце искривлённое... «Не иначе, как турецкий *ханджар*» – профессионально определил Ермолайка угрожающий ему тип оружия. «Хоть бы лезвие не отравлено было»... Но эти мысли промелькнули в его голове уже независимо от происходящих действий...

...Коварный выпад ножом, молниеносно проделанный истцом в Ермолайкину грудь, причем профессионально направленный прямо в сердце, учитывая то обстоятельство, что в настоящий момент он был без кюяка, запросто мог бы оказаться для Дарташова роковым...

Но на то и был наш Ермолайка казаком, да ещё и не простым казаком, а настоящим донским *характерником*, что его тело прирожденного воина, само по себе, без всякого участия разума, умело спасать его в сложных боевых ситуациях. Не тратя драгоценное время на попытку отскочить назад или в сторону и оставаясь стоять на месте, Ермолайка резко развернулся к траектории удара левым боком, одновременно чуть отклонив назад корпус. Благодаря этому нехитрому приёму вместо казачьего сердца нож истца проткнул только воздух, слегка чиркнув по ткани архалука...

Увидев руку с ножом, там где он и прогнозировал, то есть прямо перед собой, Ермолайка положил свою правую ладонь на запястье истца и несильно дёрнул её вперёд, используя еще не до конца затухшее движение выпада. В результате противник развернулся, став к Ермолайке боком... При этом, находясь к противнику также боком и продолжая удерживать навытяжку руку с ножом правой рукой, свою левую руку Ермолайка выкинул в сторону бородатого подборodka истца.

Накинув тыльную сторону ладони на гортань противника, Дарташов одновременно подсёк правую ногу истца прямой подсечкой своей левой ноги. Сочетание нажатия ладони на гортань с одновременной подсечкой ноги, дало эффект казачьего «коромысла», в результате которого противник, как ему и положено, кулем упал на спину, высоко подбросив вверх подсеченную ногу. Правая же рука Ермолайки при этом так и оставалась держать истцовую руку с ножом, поскольку любому казаку известно, что пусть даже противник и повержен, но пока он жив, бесконтрольно оставлять оружие в его руке никак нельзя...

Потому, чуть ослабив хватку, кисть Дарташова слегка переместилась вверх, и, достигнув лежащих на рукоятке ножа пальцев противника, резко стиснула их в крепкий зажим и тут же совершила вращательное движение по траектории сверху вниз. Лёжа на спине, истец вскрикнул от боли и с натугой выдернул свои расплющенные болью пальцы из-под кисти Дарташова. Всё. Теперь турецкий ханджар был полностью в Ермолайкиной руке. Для пущей надежности, врезав носком ичиги в правое подреберье противника, и тем самым надолго выведя его из боя, Ермолайка от греха подальше закинул нож в сторону, после чего двинулся к другому истцу.

Увидев столь быструю и эффективную расправу над своим сотоварищем, второй истец начал пятиться от Ермолайки назад, что-то лихорадочно нащупывая у себя за пазухой. Наконец-таки нащупав искомое, истец выхватил из-под котыги небольшой пистоль и со злорадной ухмылкой направил его прямо на Дарташова. Оперативно (чувствовалась сноровка) взвев курок и откинув полку для пороха, истец со страшным грохотом выстрелил, целясь Ермолайке прямо в голову...

Только вот незадача, пока он выцелил казака, с максимально возможной скоростью готовил пистолет к выстрелу, взводя большим пальцем курок и открывая полку с затравкой, Дарташов резко нырнул вниз и сделал по полу два кувырка через голову (благо, он сегодня был не только без кюяка, но и без сабли). Тем самым он не только сократил дистанцию до противника, но и пропустил выпущенную пулю над собой, предоставив ей возможность с визгом и грохотом врезаться в оконную раму, вызвав осыпание оконной слюды. Неожиданно вынырнув из облака порохового дыма прямо перед незадачливым стрелком, Ермолайка уже было собрался окончательно вывести его из строя, но... не успел...

– Ах ты, аспид окаянный, ишь... ещё палить в хате удумал... – неожиданно донеслось до Ермолайкиных ушей, после того как истец вдруг неожиданно обмяк и сполз вниз, грузно осев задом на дощатый пол. А за его спиной показалась прекрасная в своем праведном гневе Костянка, державшая в руках извечное оружие всех русских женщин – внушительных размеров скалку для стирки белья.

Это была их первая встреча наедине...

Ни пороховой дым, ни разгром в избе, ни даже валявшиеся и постанывающие истцы – ничто не могло остановить того непередаваемого восторга любви, который впервые в жизни полностью охватил Ермолайку. Не в силах совладать с собой, перепрыгнув через оглушенного истца, он, широко распахнув объятия, неудержимо бросился к предмету своих тайных воздыханий. Оказавшись в непосредственной близости от Костянки, Дарташов со всей неумной страстью вольной казачьей души схватил обеими руками её правую руку и... пылко прижал её к своему гулко бьющемуся сердцу...

К тому самому, которому всего несколько секунд назад смертельно угрожало искривлённое лезвие турецкого ханджара... Гул казачьего сердца, пульсируя в прижатую к груди Дарташова женскую ладошку, казалось, перерос в раскатистые удары колокола и наполнил всё естество Костянки невиданной слабостью и истомой. От подобного впервые испытанного чувства она пошатнулась, еле-еле устояв на внезапно задрожавших ногах...

И неизвестно, что бы было в дальнейшем между двумя влюбленными сердцами, случись подобный эпизод между двумя молодыми людьми, где-нибудь в Париже или, например, в Венеции. Но то, что было возможно там, здесь у нас на Руси было абсолютно недопустимо, потому как «сие есмь прелюбодеяние, сиречь грех зело срамной»...

...С превеликим трудом совладав с собой и уняв мелкую, предательски разлившуюся по всём телу дрожь, Костянка с ужасом почувствовала, что её лицо зарделось, сделав пунцовыми её и без того румяные щеки. Это было уже слишком... От охватившего стыда отвернув голову и опустив «очи долу», Костянка, не имея сил отнять руку от груди Дарташова, беззащитно прикрыла лицо краем своего *плахта*.

И это было единственным, что могли позволить себе на Руси два влюблённых молодых сердца, не входя во грех и в искушение... Поскольку хоть и был Ермолайка свободен, как казак в степи и вольный сокол в небе, однако Костянка была, как известно, женой мужниной, а домострой на Руси завсегда есть домострой, и пусть порой суров он к любящим сердцам, зато зело праведен. На том и стоим...

Так и стояли они неведомо сколько, вот и оглушённый истец уже пришел в себя и стал приподниматься на локтях прямо за спиной у застывшей пары, что-то бессвязно мыча, и мотая по сторонам гудящей после скалки головой...

...И даже отдавшись любовным переживаниям, сопровождаемым прижиманием к груди руку любимой, Ермолайка всё равно, прежде всего, оставался всё тем же, кем и был изначально. То есть – прирождённым воином. Не отвлекаясь от Костянки и даже не отдавая себе сознательного отчёта в том, что именно он делает, Ермолайка совершил молниеносный удар ногой назад, угодив приподнявшемуся истцу пяткой ичиги прямо в лоб. Повторно оглушённый истец с шумом рухнул на спину, широко раскинув руки.

Шум падения его тела окончательно вывел Костянку из охватившего её трепетного состояния, и, сумев собрать все свои силы, она, идя наперекор велению сердца, наконец-то смогла выдернуть руку из-под ладони Дарташова... Освободившись от любовного наваждения, она чисто по-женски ойкнула, и продолжая от стыда за содеянное прикрывать лицо плахтом, стремглав выскочила из избы, побежав в сторону воеводского терема.

Постояв после её ухода в одиночестве еще с полминуты и приведя с помощью внутреннего дыхания удары своего сердца в норму, Дарташов, перешагивая через распростертые тела истцов, вышел из хозяйской хаты и побрёл восвояси, не разбирая дороги.

И если бы он был поэтом, то сейчас мир бы обогатился величайшим стихотворением...

## Княгиня Анна

Стремглав вбежав по каменной лестнице на женскую половину княжеского терема, Костянка застала Княгиню Анну на том же самом месте, где она, уходя домой, её и оставляла. Сидящей, как ботичеллевская мадонна, в грустном одиночестве у изразцового окна, со смиренно сложенными на груди руками. Причем в таком меланхоличном, в общем-то несвойственной для её волевой природы состоянии Анна Вастрицкая пребывала сегодня с самого утра. После того самого памятного утреннего общения с князем-воеводой, по поводу злополучной яхонтовой чикилики.

Но поскольку княгиня, весь день храня горделивое молчание, отнюдь не спешила поделиться причиной своей неожиданной кручины, то и Костянка, в свою очередь, проявляя природную тактичность, в душу своей княгинюшки не лезла и лишних вопросов не задавала. Так и проведя весь день в обоюдном молчании, и переделав всю положенную ей по должности работу, Костянка с передавшейся и ей грустью под вечер вернулась к себе домой. Там она и подверглась государевому сыску, инспирированному ненавистным Ришельским-Гнидовичем. Но, на её счастье, и на беду истцов, при сыске рядом с ней оказался лихой донской казак Ермолайка Дарташов, и остальное уже хорошо известно...

Отдышавшись от быстрого бега и с трудом справляясь с охватившим её волнением, Костянка Бонашкина без утайки поведала Анне Вастрицкой обо всех случившихся с ней после её ухода из княжеского терема злоключениях.

– Так, что ты сказываешь, они у тебя сыскивали? – наконец-таки очнувшись от охватившей её хандры после услышанного Костянкиного рассказа, с еле заметным пробуждающимся интересом переспросила княгиня.

– Да цидулку-то, которую ты, княгинюшка, собственноручно на-дысь отписывала. Всю избу ироды проклятые вверх дном перевернули, да ещё и меня норовили обыскивать своими погаными лапищами... Спасибо, тот казак рядом оказался...

– А чего ж они цидулку-то под вечер сыскивали, егда я её ещё по утреву воеводе отдала? Ох, видно, и неспроста это... ох, неспроста... – недоумённо вопрошала, покачивая головой княгиня. И глубоко задумавшись, тщетно пыталась своим наполовину скандинавским разумом уловить скрытый рациональный смысл в том загадочном явлении, которое во все века называлось извечным русским головотяпством.

Получив по утру от начальства ясный приказ, провести СЕГОДНЯ сыск у «княгининой фрэльки», истцы разряда Ришельского-Гнидовича, соблюдая правила конспирации, ретиво отправились к месту её проживания. Дома же Костянку они, естественно, уже не застали, так как она с самого утра находилась там, где ей и надлежало быть, а именно – рядом с княгиней, исполняя свои «фрэлькинские» обязанности. Мужа же её и хозяина, бывшего мордовского панка, а ныне кабацкого целовальника Мокши Бонашкина, дома также не оказалось. Занимаясь своим любимым делом, он с самого утра уже находился за своим кабацким прилавком, снимая ночную выручку и привычно подлавливая на мелком воровстве своего трактирного ярыжку.

Проводить же сыск без хозяев истцам было, во-первых, не интересно, а во-вторых и не очень-то целесообразно. Будучи в сыском деле достаточно опытными и умудрёнными, настоящими «рыцарями плаща и кинжала», но только с русским уклоном, они справедливо полагают, что уж где-где, а в доме кабацкого целовальника – всяких цидулек, грамот и прочих бумаг им доведётся встретить в весьма изрядном количестве. Но только вот... определить самостоятельно, какая же именно из них и является разыскиваемой, для истцов было бы делом весьма затруднительным, поскольку особой грамотностью мастера сыского дела (чай не дьяки и не подьячьи какие-нибудь) они, увы, не отличались...

Потому здраво рассудив, они приняли единственно возможное для них решение – не имея возможности иметь сыск с жены, проследить за мужем, поскольку давно известно, что «муж и жена одна...». Потому придав своим сосредоточенно-угрюмым лицам выражения, по их мнению, являющимся весёлыми и беззаботными, они и отправились проводить слежку за Мокшей, который с утра был уже в трактире.

В трактире, по всем законам конспирации, для пушего слежения им пришлось маскироваться, взяв для начала по ендове ячменного пива, а потом и по второй... А когда вторая *ендова* закономерно закончилась, пришлось брать и по третьей. И так до самого вечера, вернее до прихода в кабак бузотёров, на которых, как известно, красные котыги Ришельского разряда действовали, как красные тряпки на быков. И потому уже под поздний вечер, слегка пошатываясь, но, тем не менее, старательно сохраняя твёрдость разума и походки, «рыцари плаща и кинжала», профессионально ускользнув от вошедших в трактир бузотёров, отправились выполнять свой истцовой долг. Благо, к тому времени уже и Костянка из терема вернулась...

Потому и о той злополучной цидулке Костянке стало известно только к вечеру и не от княгинюшки, а от противоположной стороны. Осознав, что хранить тайну в себе теперь не только тяжело, но и совершенно бессмысленно, княгиня Анна отдалась воле чувств и чисто по-женски излила Костянке всю свою душу, рассказав ей всё. От дядюшки Делагарди и Бехингер-хана, до той беды, которая может на неё обрушиться, ежели к приезду этих проклятых турок на её кокошнике не окажется злополучных яхонтовых чикилик...

– А отколь им быть-то, егда я одну из них Бехингер-хану и подаривши... будь он неладен, дабы он нехристь немытый мне все о замыслах Ришелькиных поведывал... он и поведал... Но, как мне таперича пред миром оправдаться, что всё ради державных дел сотворивши и во грех срамной не вошедши? Послать бы кого за той чикиликой, да токмо кого тут пошлешь, да и куды? Иде та орда ногайская сѣдни кочует? За Доном, аль за Кубанью? А можа и вовсе в Тьмутаракани какой? Да, беда-а-а... токмо и осталось одно... в омут головой али в петлю...

– Да ты что ж, княгинюшка, рази так можно? Что б себя перевести, и всё из-за какой-то треклятой чикилики? Ведь грех то зело великий, себя живота-то лишать... – ужаснулась Костянка мыслям Анны Вастрицкой и трижды перекрестилась.

– Всё так, ясно дело, грех... да видно планида моя нынче такова, пусть и грех, лишь бы не срам. Понеже я, чай, не блудница подзаборная, а княгиня российская... – гордо вскинула голову Анна Вастрицкая.

– На минуту в княгининой светелке воцарилось глубокое молчание...

В полном молчании обе женщины, одна с выражением глубокой тоски, а другая сострадания, от полной безысходности устремили свои взоры в окно. Через дорогое витражное стекло окна смутно проглядывался двор княжеского терема. Во дворе какой-то казак, которого женщины смогли опознать по васильковому чекменю и папахе, с явной ленцой гонял нагайкой кучку княжеских холопов, с криком и визгом шарахавшихся от него врассыпную. «Видать, зашел по какой служебной надобности, а холопы из княжеской челяди, по дурости, возьми, и что-нибудь не так ему скажи, вот он их поучает...». Машинально отметила про себя Костянка и тут вдруг её лицо просветлело и озарилось счастливой улыбкой.

– Ой княгинюшка... кажись... кажись, я ведаю, что здесь нам с тобой учинить можно... как твою честь и совесть оборонить, а Модеску – гада ползучего, вокруг пальца обвести...

– Ну? – в охваченных глубокой тоской глазах княгини блеснул лучик надежды.

– Казак тот, что меня сѣдни от истцов спас... Он же не из нашенских городовых, а из природных – донских будет. К нам он недавно с Дона приехавший, а значица он то Дикое Поле, как свои пять пальцев ведает. Он в степи и шляхи все, и сакмы разные ведасть должён, и иде какая орда татарская стоит и кто в их улусах правит... на то он казак и есть... – единым духом выпалила Костянка. После чего на секунду задумалась и уже ровным голосом, без тени особого ликования продолжила:

– В том, что он Бехингера твою сыщет – в том я нимало не сомневаюсь, токмо вот не ведаю, согласится аль нет он нам помочь...

– А чего же ему не согласиться? – вопросительно вскинув брови, недоуменно переспросила княгиня, – мы ж его, аки дело справит за то, знамо дело, златом-серебром отблагодарим, как боярин в парче и шелках ходить будет... али ему вовсе и не злато надобно? – Внезапно начиная женским чутьем, смутно о чём-то догадываться, сказала Анна Вастрицкая, и пронизательно прищутив свои холодные шведские глаза, пытливо заглянула в карие очи Костянки. От её пронизательного взгляда, казалось, доходящего до самой глубины души Костянка зарделась и смущенно отвернулась. Как и большинство русских женщин, врать она не умела...

Ах, вот оно что... Та-а-ак... таперича всё понятно... а я-то всё гадаю, чего ж это он тебя вдруг спасти ни с того ни с сего стал? А тут оказывается, дела сердешные замешаны... – ласково взяв лицо Костянки своей мягкой ладонью, княгиня повернула её лицо к себе и, утирая внезапно брызнувшие из её глаз слезы шелковым платочком, спросила:

– Сказывай как на духу, люб он тебе али нет?

– Люб... ох, как люб, соколик мой ясный... Токмо, что с того... – горестно вздохнула Костянка, – я ж, как и ты, княгинюшка, есмь жена мужнинская... потому мои дела сердешные так при мне и останутся... Чай сама ведаешь, как у нас на Руси с этим...

– Ясно дело, ведаю... Ты вот что. Ступай-ка ты сей же час почивать, да домой, смотри, не возвращайся. В каморке своей сёднишнюю ночь при мне проведешь, а то ещё неровен час истцы возвратятся, тады беды не оберешься. А завтра... утро оно всегда вечера мудренее...

И отправив Костянку на ночлег в специально пристроенную рядом с её опочивальней небольшую каморку, оставшись одна, княгиня со свечой в руках стала на колени перед иконой Спаса. Не один час провела Анна перед иконой в мольбе о ниспослании ей избавления от свалившейся на неё напасти, и только под утро, чрезвычайно утомлённая, но абсолютно умиротворённая, она с чистой совестью легла в постель. Мольбы княгини не прошли даром. Всевышний сжалился над безвинно страдающей женщиной, и поутру Анна Вастрицкая проснулась с чётким пониманием того, как и что ей теперь нужно делать, дабы выправить своё нелегкое положение.

Вызвав к себе так и не сомкнувшую за всю ночь глаз Бонашкину, княгиня Анна прошептала ей на ушко свой снизошедший на неё свыше план действий. От услышанного Костянка пришла в неопикуемый восторг и залилась счастливыми слезами. После чего стремглав бросилась разыскивать своего «ясного соколика» Ермолайку Дарташова из рода Дартан-Калтыка, которому в осуществлении княгининого плана предстояло сыграть решающую роль...

## Шведский дзюльфакар хану в обмен за византийскую чикилику и... развод на майдане

...Еще в больший восторг пришел Ермолайка после того, как ему перехватившая его на пути к стану батьки Тревиня Костянка, запинаясь и краснея от смущения, как могла, изложила разработанный княгиней план действий.

План Анны Вастрицкой был чисто по-шведски логичен и в то же время, совсем по-русски бесшабашен. И в этом, казалось, самом немыслимом сочетании буйной русской стихии с европейским прагматическим расчётом княгинин «проект» был по-своему красив и даже... изящен.

Исходила же княгиня Анна из того непреложного факта, что для того, чтобы ей выпутаться из навалившейся на неё напасти, ей, прежде всего, необходимо эту столь неосмотрительно подаренную Бехингер-хану чикилику вернуть назад. Но при этом она ясно понимала, что для того, чтобы хищный нехристь её назад отдал, ему обязательно необходимо будет предложить взамен нечто равноценное. А иначе, ну чего ради этот ордынец вдруг станет яхонты назад отдавать? Не бывало досель с татарами такого мизантропства, к тому же, как сказывали, хан еще и оказал дару княгини великую честь (будь он неладен с такой честью), повесив яхонтовую чикилику на сбрую своей любимой кобылицы. Так что легкого расставания с драгоценностью от него ожидать никак не приходится.

Но ничего... княгиня Анна предложит ему взамен нечто такое, от чего Бехингер-хан точно отказаться не сможет...

Размышляя подобным образом, Анна подошла к своему «девичьему» сундуку, в котором хранилось её еще девичье, привезённое ей из новгородского дома Вастрицких приданое. Ключ от сундука всегда был при ней, вися на цепочке рядом с крестиком, и хранилось в нём, как у всякой порядочной женщины, самое сокровенное. От давно засохшего букетика новгородских фиалок, подаренного юной княжне, уже и не упомнить кем, до пера от шляпы дядюшки Делгарди.

Порывшись в сундуке, княгиня Анна извлекла из него длинный продолговатый свёрток грубой корабельной парусины и положила его на стол. Развернув его, она извлекла на белый свет кривую саблю весьма необычного вида. И необычность сабли заключалась в том, что она имела раздвоенный в своей верхней части, как жало змеи, клинок.

К рукоятке сабли с чисто шведской прагматичностью была привязана деревянная бирка. На бирке красовались аккуратные строчки готического шрифта гласившие: «*Дзюльфакар* – копия легендарной сабли пророка Мухаммеда и его зятя Али. Рекомендуется применять для оптимального использования мусульманского фактора в войне с Россией. Изготовлена в Стокгольме, в королевской оружейной мастерской, в 1605 году от Р.Х. мастером Бьёрном Эриксоном, с приданием ей старинного вида, по образцу привезённому в Швецию во времена второго крестового похода. Клеймо отсутствует». А дальше и вовсе прозаически: «Цена 48 талеров 32 скиллинга».

Переведа написанное, княгиня Анна глубоко задумалась. Сабля эта была привезена на Русь ещё в достопамятные Смутные времена в обозе её добрейшего дядюшки генерала Делгарди. По счастью для России, шведам достаточно углубиться к югу и войти в прямое соприкосновение с «мусульманским фактором» тогда так и не удалось, потому и его «оптимально использовать» для борьбы с последней тоже никак не получилось.

Брошенная впопыхах уходящими с Руси скандинавами за полной ненужностью, копия легендарного Дзюльфакара была хозяйственно подобрана князьями Вастрицкими и до поры до времени ими упрятана. И вот теперь, при явном наличии этого самого прямого соприкоснове-

ния «с мусульманским фактором», она имела все шансы быть «оптимально использованной». Только уже в интересах не шведской, а русской короны...

Оторвав бирку, княгиня положила рядом с Дзюльфакаром бумагу, и взяв в руку перо, стала задумчиво его покусывать, любуясь на змеевидное раздвоение клинка. Продумав содержание того письма, которое она собиралась приложить к сабле, Анна оторвала перо от губ и обмакнула его в чернильницу...

«...И тогда благородный рыцарь с юга сим мечом оборонит трепетную северную лань от её ворогов, сим деянием свершив подвиг достойный восхищения по получению её тайного знамения...». Заканчивалась же эта загадочная надпись не менее загадочной подписью. Большой буквой «А» и точкой...

Вот и пусть теперь «благородный рыцарь с юга» ждёт «её тайного знамения», сидя себе со своей ордой в родном улусе и никуда не рыпается... А там еще и поглядим, что окажется для степного хана сильнее, деньги Ришельского-Гнидовича или женские чары княгини Анны...

Но вот только вопрос, а как этот Дзюльфакар привезти в улус Бехингер-хана, а от него доставить чикилику в Воронеж?

Тут, конечно, Костянка совет весьма дельный дала, предложив для исполнения такой трудной миссии столь подходящую кандидатуру как Ермолайка. По всем статьям он подходит. И казак, и природный донской (не то, что наши городовики, которые уже и степи-то толком не знают), и ловок, и силён, да еще и умён (причем в меру). Всё бы ничего, но... тут европейский прагматичный расчёт вдребезги разбивался о реалии русской действительности.

Ну, как его, всего такого подходящего, заставить выполнить для княгини столь щекотливое поручение. Как привлечь? Чем заманить? Денег дать? Пусть даже и много? Но что для казака деньги... Известное дело, плюнул на государеву службу, пристал к какой-нибудь голутвенной ватаге, пошарпальничал с пару месяцев где-нибудь в низовьях Волги, вот тебе и деньги. Так что златом-серебром вольного казака никак не приманишь. Чай, не холоп какой, что за барскую копейку готов удавиться...

Остается одно – то вечное чувство, которое, как известно, правит миром и которому все, в том числе и самые наивольнейшие казаки, тоже покорны. И всё бы ничего, благо чувство, вот оно, между казаком Ермолайкой и княгининой «фрэлькой» налицо, но... Как известно, в условиях русского домостроя, результат такой любви всегда един. В лучшем случае – монастырь, в худшем – плаха...

И вот тут-то сочетание холодного шведского расчёта со знанием тонкостей славянского жизнеустройства вдруг дало неожиданные результаты. Сподобил все-таки Господь княгиню Анну найти выход и из такого сложнейшего положения...

Первым делом надо будет вызвать кабацкого целовальника Мокшу Бонашкина и сделать ему чисто деловое предложение. Предоставить трактирщику счастливую возможность по ходатайствованию самой княгини Анны Вастрицкой (даром, что ли воеводина жена), получить высочайшее разрешение на открытие в Воронеже ни много ни мало, а цельной винокурни. Подарок, надо сказать, для хозяйственного мордвина поистине царский, вернее княжеский. А за это потребовать от него всего лишь навсего приписаться... в городовые казаки батьки Тревиня. Причем, согласится на это или нет сам Мокша – даже не обсуждается, поскольку и так ясно... за право содержать в городе винокурню и не на такое согласишься.

Вторым этапом надлежит отправить двух городских казаков – природного донского Дарташова и бывшего мордовского панка Бонашкина (причем последнего, непременно, вместе с его казачьей жонкой), по какому-нибудь не шибко важному поручению на Тихий Дон в Черкасский городок. Там, уже в Черкасске, надлежит Мокше Бонашкину вступить на Кругу в казачью станицу (а что не вступить, чай, не мордвин уже, а как никак, пусть и городской, да всё-таки казак).

И вот после того, как станет Бонашкин полноценным *станишником*, надлежит ему вывести свою казачью жонку Костянку на *майдан* перед церковью и там, с соблюдением всех тонкостей казачьего обычая... развестись. Благо, древний казачий закон, действующий на донской земле, – это ещё позволяет. А случившемуся оказаться тут же на майдане Ермолайке останется только накрыть брошенную жонку полой своего кафтана, что по казачьему обычаю означает, что он, дескать, такой сердобольный, берёт брошенную несчастную женщину (знамо дело несчастную, раз муж бросил) себе в жёны. И всё. Мокша может с чистой совестью отправляться в Воронеж открывать винокурню, а Ермолайка с Костянкой – в церковь венчаться...

Так что было Ермолайке от чего прийти в буйный восторг. Оказывается, так просто и при этом никоим образом не входя в конфликт с законом и совестью, можно будет ему соединиться со своей ненаглядной любушкой. Надо же, и кто бы такое только мог подумать? И всё-то для этого и нужно, найти где-то в Диком поле улус Бехинегр-хана, передать ему княгинин дар и забрать от него эту самую яхонтовую чикилику. Правда, проделать все это ему необходимо успеть не больше, чем за две недели, но на то, как говорится, и конь под казаком быстроногий, и степь для казака, как дом родной...

– Да не печалься, любушка моя, ну, чего рыдаешь, разыщу я твоего хана и чикилику, будь спокойна, в срок возверну, – робко вытирая слезы на щеке Костянки краем своей папахи, с лаской в голосе утешал всхлипывающую от избытка чувств Бонашкину Дарташов.

– Да я не об том... знамо дело, что возвернёшь. А вдруг мы вот сперва оженимся, да потом и не слубимся? А вдруг ты возьмёшь меня опосля да и разлюбишь? Аки ж мне тады быть? – с замиранием сердца спросила Костянка.

– Э-э-х ты, нашла об чём кручиниться... да как же я тебя разлюблю-то? Да и ежели так, то, что в том за беда. Мы ж с тобой женаты будем показачьи, по-казачьи, ежели возжелаем, то и в обрат в миг разженимся. Всего и делов-то, на майдан вдругорядь выйти... – как мог, утешил Ермолайка свою ненаглядную Костянку, но Костянке перспектива повторного развода, судя по всему, явно не приглянулась и, уткнувшись лицом в широкую грудь Дарташова, она зарыдала пуще прежнего...

## Начало похода

– Браты-казаки, станишники, – смиренно сняв с головы папаху, торжественно объявил Ермолайка, стоя перед бузотёрами у ворот стана батьки Тревиня.

– Надлежит мне зараз в дальнюю путь-дороженьку по Дикому Полю отправляться, дабы сыскать на ём ногайский улус Бехингер-хана. Разумею я так, что зараз он на реке Ея, аль иде за Кубанью, а могёт быть, что и в Темрюке. Так что, кто смел да удал, да смертушки не боится, айда со мной...

– Погодь, погодь. Охоланись... – остановил Ермолайку рассудительный Затёс. – Мы тут зараз все, знамо дело, вельми смелые и удалые. Но наперёд того, аки очертя голову отправляться неведомо куда киселя хлебать, всё же желаем мы знать, какого рожна нам там надобно? На кой хрен нам ногайцы, да паче всего ещё и улус именно Бехингер-хана? – Действительно, Ермолайка, на кой? – поддержал Затёса Карамис.

– Ведь, ежели мы токмо славы воинской ищем, – продолжил Затес, – то сыскать её можно и гораздо поближе. Вон, сразу за Менговским острогом, сказывают люди, надясь как крымчаки воровской ватагой объявились. Причём в глубь Руси хитрые басурмане не суются, а так, пошарпальничают по окрестным сёлам и в обрат за засеку хоронятся. Так что, ежели нам токмо доблесть надобна, то айда к острогу. Тамо мы зараз воинской славы зело обрящем, да заедино ещё и службицу государеву справим...

– А шо, крымчаки рубаты... – поддержал Затесина Портосенко.

– Погодь, Опанас, – остановил запорожца Затёс, положив ладонь ему на руку, – никуды твои крымчаки от нас не денутся. – И опять продолжил свои рассуждения. – Ну, а ежели нам Дуван нужён, то тады и вовсе к ногаям идти не след. Понеже, знамо дело, нам лучшее всего али по Волге за Астрахань али по Дону за Азов, а там ужо купчины и турецкие, и персидские. А ты гутаришь – улус Бехингер-хана... На кой? Поясни...

– Право дило, ну що нам у тому улуси робыть? Мабуть у их, у ногаив паганых, нэ то що Дувана, но и смачних харчив немає... а за горилку я й зовсим мовчу... – резонно заметил Опанас Портосенко, вопросительно глядя сверху вниз на Дарташова.

– Ты того... Ермолайка, объяснись толком пред друзьями. Можа, ты в том Бехингеровом улусе красных девок ищешь? Так они паче чем у ногайцев, краше у черкесцов и грузинцев... – со знанием дела поддержал Опанаса Карамис.

Упоминание Карамисом о «красных девках» вызвало на мужественном лице Дарташова легкий румянец, не оставшийся без внимания от пронизательного взгляда Затёсина.

– Ага... тут вот оно, что... – протянул Захарий и саркастически приподнял бровь, насмешливо посмотрел на Ермолайку. – и иде ж та «красна девка» ныне обретается? Неужто ясыркой в ногайском полоне томится? А можа где поближе, например, в княжьем тереме, аль и вовсе... – И с этими словами Затёс кивнул головой в сторону постоянного двора Бонашкина...

– Более чем прозрачный намёк Захария Затёсина вызвал у Ермолайки, вдобавок к предательскому румянцу на щеках, ещё и гулкое сердцебиение. Ведь он-то по простоте своей душевной полагал, что его тщательно скрываемые вздыхания являются для окружающих полнейшей тайной, а оказывается, что вовсе нет. Это только простодушный Опанас, так тот действительно ничего так и не заметил, а наблюдательный и склонный к анализу Затёс, вкупе со специалистом по женскому вопросу Карамисом, уже давно вычислили сердечную равнодушность Дарташова к молодой и красивой хозяйской жонке. Да еще задолго до памятной сцены в хозяйской избе с истцами, по одним лишь тайным взглядам Костянки, со стопроцентной уверенностью установили, что равнодушность эта вполне обоюдная...

Так что не зря хитрющий Карамис задал вопрос о «красных девках», как о главном мотиве Ермолайкиного похода на ногаев. Ведь знал же, бестия, что именно спрашивать...

Совладав с собой с помощью глубоко нутряного дыхания и, тем самым сумев быстро восстановить как ровное сердцебиение, так и природный цвет лица, Дарташов совершенно спокойным голосом изрёк:

– Скрывать не буду... есть в сём походе и моя личная корысть, и связана она с одной жонкой, которая для меня есмь дорожее и краше всех на этом белом свете... Но не то главное. Не токмо того ради вы пойдете со мною головы свои казачьи под татарские сабли подставлять. Не токмо... и паче всего, правы вы в том, что зело доброго Дувана мы там навряд ли сыщем. Но одно могу обещивать твёрдо, что славы и воинской доблести для нас в сём походе будет хучь отбавляй. Потому как... – и при этих словах Ермолайка опасливо стрельнул глазам по сторонам, после чего, понизив голос до шёпота, продолжил. – Деяние, что нам надлежит свершить, идёт супротив Модески окаянного, а значица в пользу государству расейскому и... княгини Анны... а паче того, что сказано, *гутарить* про это мне больше никак не мочно... Даже и не просите...

– Та-а-а-к... вот таперича понятно... – протянул Затёс – Ну что, братья-бузотёры, послужи супротив Модески во славу русскому государству и за ради чести нашей княгини?

– За ради чести княгини и за славу русскую, оно конечно можно. Тем паче, что супротив Ришелькина, токмо... – при этих словах Карамис запнулся.

– Ну, Карамис, что же тебя зараз смущает?

– Токмо то, что ежели нам в степи с ришельцами доведётся стренуться, то биться-то с ими ужо до крови придётся не жалея живота своого и ихнего, и стрелами по ним стрелять не со свистульками, а с калёными наконечниками. Сиречь придётся кроволитие русское проводить и душегубство православных учинять, а сие есмь грех великий!

– Да, прав ты, Карамис, оно конечно, грех то вельми тяжкий, – со-гласно кивнул головой Ермолайка. – Токмо разумею я так, что в степу нам с ришельцами никак не стренуться и что все свои злодейские преграды оне нам будут учинять токмо до Менговского острога. То бишь ещё в России. Поелику и биться нам с ими придётся не до смерти. Так что, глядишь, и без лишней крови обойдёмся, и греха на душу не возьмём... – ответил Карамису Дарташов.

– Пошто так гутаришь? Отколь ведаешь, что токмо до острога? – во-просительно спросил Затёс.

– Да, а как же оно иначе-то? Ну, отколь им москалям степь-то донскую знать? Да оне в ней, словно слепые кутята. Да им первый же встречный татарский разъезд, за милую душу «кердык» учинит... Так что, как им нас тамо встренуть? Тем паче, что поведу я вас не по большому Ногайскому шляху, а по малой ордынской сакме. А сакму ту, точно гутарю, не один москаль не ведает. Да что там москаля, егда не кажный казак её знает, токмо из тех родов, что ещё в орде *сакмагонами* служили. Как пращурьы мои Дартан-Калтыки...

Так что с православными нам, ежели и биться, то токмо до Засечной черты. То бишь безоружно. А уж с басурманами-то, ну, тут нам казакам сам Бог велел...

– Ну, что ж, коли так, то я согласный... – промолвил Карамис, после чего одним взмахом выхватил из ножен свой кончар и ловко перехватив рукоять с переднего хвата на обратный, с силой вонзил его в землю. Потом положил левую ладонь на яблоко рукояти, правой осенил себя крестным знаменем и произнёс древний казачий девиз:

– За други своя...

– За други своя... – и украшенная драгоценным перстнем рука Затёса уверенно легла на ладонь Карамиса.

– За други своя... – присоединилась к ним рука Дарташова.

– За друзи свои... – прогудел сверху голос с мягким украинским говором, и три лежащих на рукояти меча кончара казачьих руки полностью покрыла тяжёлая длань Опанаса.

– Тильки салом та горилкой трэба заздальгидь запастися, а то я ну-трошчамы видчуваю, що, у тих ногаив, окрим бараныны тай вэрблюджатыны проковтнуты будэ ничего...

Этими, не лишенными справедливости словами рачительного запорожца, в вопросе о целесообразности ногайского похода за яхонтовой чикиликой была поставлена точка.

– Кады выступаем-то?

– Зараз.

– Добрэ...

## Часть 2. "За други своя!" или чикилики княгини Анны

### Проверки на дорогах

Через полтора часа после описанных событий, оперативно собравшись и уладив все необходимые формальности по службе, а также разжившись съестным и боевым, Дарташов и три бузотёра уже выезжали из ворот Воронежской крепости. К арчаку Ермолайкиного коня, сзади, был приторочен парусиновый сверток с аккуратно завернутым Дзюльфакаром. Путь казаков лежал в южном направлении, далеко за Засечную черту, в самое, что ни на есть «Дикое», так и кишашее всяческими леденящими душу опасностями и приключениями «поле».

Во главе маленького отряда, с важным начальственным видом, что впрочем, для проезда по землям Московии было далеко не лишним, ехал сын боярский и пятидесятник казачьей городской сотни Захарий Затёсин. Экипирован в дальний поход он был соответственно своей начальственной стати. Даже сразу и не подумаешь, что просто служилый дворянин, прямо-таки боярин, а то и князь средней руки.

Его конь арабской породы (кстати, единственно из всех – не казённый) был покрыт не простой казачьей попоной, а защитным *чалдаром*. Голову Затёса украшал сверкающий позолотой, «табельный» шлем всех мало-мальски значимых русских полководцев той эпохи – шлем ерихонка. Прямо-таки такой же, как и у легендарного Дмитрия Пожарского – с козырьком, назатыльником, с шурупцем защищающим переносье да еще и с высоким яловцом ярко-красного цвета. Над козырьком ерихонки, в том месте, где впоследствии будут носить кокарды, гордо красовалась родовая *тамга* Затёса, впоследствии ставшая фамильным гербом будущих графов Затёсиных, – два скрещенных чекана.

Настоящие же чеканы Затёса находились там же, где им и полагалось находиться: два за голенищами его сафьяновых сапог и два за Кушаком. Его сабля в дорогах посеребрённых ножнах была приторочена к седлу, а из седельных кобур (впрочем, как и на всех казачьих конях) торчали рукоятки пистолей. Разве что у Затёса вместо казённых тульских пистолей с неуклюже-массивными, напоминающими небольшие палицы рукоятками, были изящные двустольные пистолеты итальянской работы.

Тело Затёса было покрыто не просто защитной броней или там, например, простонародным куяком, как у Ермолайки, а самым настоящим зеркалом – весьма дорогостоящим доспехом, носимым исключительно русской знатью. Золочёное зеркало, с державным двуглавым орлом на груди, ярко сверкало на солнце, издавдалека обращая внимание на его владельца, что для путешествия по холопско-боярской Руси было, конечно же, весьма удобно. Но для степи зеркало решительно не годилось, так как автоматически делало его носителя прекрасной мишенью как для татарских стрел, так и для янычарских пуль. «Как Засеку проедем, попрошу Затёса епанчу сверху накинуть» – глядя на величественно сверкающего Затёсина, подумал отлично представляющий условия степного похода Дарташов.

Сам Ермолайка был экипирован самым нитрадиционнейшим образом, без всякой важности и презентабельности, а потому и находился в середине отряда, уступив место пусть и не столь богато экипированному, как Затёс, зато весьма колоритному Опанасу Портосенко. На запорожце красовался его боевой пластинчатый колонтарь с высоким стоячим воротником и боками, вшитыми из стрелецкого тегиляя. На его ногах были те же самые стальные бутурлыки, защищавшие всё те же шёлковые шаровары. Разве что вместо шитых золотом турецких туфель с загнутыми вверх носами, практичный Опанас для дальнего похода одел обычные украинские чёботы. Голову его прикрывала обычная казачья шапка запорожского фасона, а вдоль тела, по

обеим его сторонам, свисали два турецких ружья с узкими прикладами, соединённые друг с другом ремнём, перекинутым через могучие плечи Опанаса.

Вообще-то говоря, турецкие ружья из-за узости их прикладов, существенно затруднявших прицеливание, были весьма неудобны, и казаки их особенно не жаловали. Но Опанас носил их сразу два, поскольку прикладываться к ним он всё равно не прикладывался, а стрелял сразу из двух стволов и с обеих рук. Как из пистолетов. После чего он обычно скидывал с плеч ремень, ружья падали на землю, и в дело вступала верная «оглобушка». Сейчас же она находилась в походном положении, будучи аккуратно закинута за спину.

Замыкал процессию Карамис. Под его чекменем проглядывала *байдана*, а на голове была всегдашняя мисюрка с бармицей и прилбицей. Естественно, что кончар, саадок с луком и колчан со стрелами также были на месте.

Так и ехали они, оставляя редких встречных холопов, сняв шапку, стоять низко склонившимися перед Затёсиным зеркалом. В те годы путешествие из центральной России на юг выглядело совсем иначе, чем сейчас. Существовавшие тогда населённые пункты – деревни, сёла и прочие веси, были весьма редки и предпочитали от греха подальше располагаться от основных дорог по возможности поудалённой. Да и сами дороги именовались таковыми скорее по традиции. Это действительно были больше «шляхи» и «сакмы», а говоря точнее, обычные лесные тропы среди диких чащоб или луговые стёжки среди густых зарослей разнотравья. Одним словом, слегка утоптанная земля, шириной, этак, с телегу, указывающая главное направление движения среди бескрайней южно-русской лесостепи...

...И вот, въехав в очередной раз из открытой степи на извилистую лесную тропу и приблизившись к её очередному повороту, бузотёры слышали сначала характерный скрип, а потом и шум падения дерева, вызвавший всполошённый птичий гвалт. Осторожно повернув за поворот, они увидели то, что, в общем-то и ожидали увидеть. Преграждающее дальнейшую дорогу свежесрубленное дерево, с тщательно скрывавшимися за ним и вокруг него полтора – двумя десятками разномастного воинского люда.

При этом на то, что это были не обычные воровские тати или ещё какие-нибудь лесные *ишши*, а именно поджидающие их люди Ришельского-Гнидовича, явно указывали изредка мелькающие там и сям красные котыги ненавистного Модескиного разряда.

– ...Та-а-а-к... – протянул Ермолайка, профессионально окинув взглядом диспозицию и быстро сосчитав неуклюже выпирающие из-за поваленного дерева и близлежащих кустов, зады и спины старательно прячущихся там супостатов, – всего осьмнадцать... восемь за стволом, восемь по сторонам и двое схронников на деревьях... видать, с сетью...

«...Дзинь... Фью-ю-ю... фр-р-р...» – пропела тетива лука Карамиса, выпустив стрелу со свистулькой... – А-а-а-а... – раздалось где-то высоко над головами, и из густой кроны дерева вывалилась орущая и нелепо размахивающая конечностями фигура, вслед за которой плавно опускалась сеть. Грузно шмякнувшись об землю, сажень в пяти от копыт казачьих коней, тело незадачливого схронника, словно саваном, накрылось сетью, судя по всему, предназначенной для поимки бузотёров. Схронник на другом дереве, видя незавидную участь своего коллеги по верхолазанию, начал было проворно спускаться вниз, при этом с усердием, но достаточно безуспешно прячась за ствол.

– ...Зараз один на деревьях и тот уже без сети, – бесстрастным голосом прокомментировал Карамис, кладя на тетиву лука следующую стрелу со свистулькой. «...Фью-ю-ю...хлоп...» – и второй схронник, успевший спуститься только до середины ствола, с отчаянным визгом упал к корневищам дерева.

Переливчато свистнув особым образом, Карамис, находящийся в самом конце кавалькады, вдруг вскочил с ногами в седло и, стоя на коне, получил прекрасную возможность видеть всё вперёдстоящее. Услышавшие его свист бузотёры, дружно как по команде, бросили пово-

дья и по-татарски откинулись в седлах назад, тем самым ещё больше увеличив для Карамиса сектор обстрела...

А именно это ему сейчас было и нужно...

Не более чем за пять секунд, восемь раз успела дзинкнуть тетива лука, и после соответствующих хлопков глиняных свистулек, восемь истошных вскриков раздалось за лежащей поперёк дороги преградой. Всё... Основной «засадный полк» был полностью выведен из строя.

– Сарынь на кичку!!! – вскричал Карамис древний казачий клич, тем самым подавая своим друзьям знак, что путь вперёд свободен. Сам же он так и остался стоять в седле, перенеся стрельбу на кусты по обеим сторонам дороги...

Таким его напоследок бузотёры и запомнили – стоящим ногами в седле с натянутым луком в руках...

Сами же бузотёры, услышав клич Карамиса, в миг выпрямились в сёдлах и бросили своих коней вперёд на прорыв. Один за другим, перескочив лежащее дерево с копошавшимися под ним супостатами, бузотёры единым махом пролетели сотни две сажен, после чего дружно натянув поводья остановились и прислушались. Сзади, там, где оставался героически прикрывавший собой их отход Карамис, раздавался звон сечи, из которой явственно выделялись характерные лязгающие удары кончара...

...Причем всё реже и реже... пока и вовсе не смолкли...

Обнажив головы, бузотёры молча перекрестились. И хотя очень хотелось им, развернув коней, обратно кинуться выручать Карамиса, но только делать этого им было никак нельзя. Не для того Карамис жертвовал собой, воплощая в жизнь казачий принцип «за други своя», дабы други его ввязывались в столь ненужное им сейчас сражение, рискуя на этом и окончить своё так и не начавшееся путешествие. Тем более что теперь, после всего этого, бузотеры были просто обязаны с честью выполнить возложенную на них миссию.

Так что, несмотря ни на что, надо было ехать дальше, и тогда Ермолайка прервал воцарившееся тягостное молчанье.

– Эх... молодец наш Амвросий, настоящий казак, хучь и из татарьев. И что токмо с ним таперича станется?

– Знамо что... – грустно проговорил Затёс, – зараз бока намнут и повяжут аки татя. Опосля к Ришельке в бастильку бросят и плетюганов дадут...

– А опосля?

– А опосля... это ужо, как скоро его батька Тревинь вызволит. Успеет ли до палача в пытошной, али нет...

И искренне пожелав батьке Тревиню столь жизненно необходимой для Карамиса расторопности трое бузотёров продолжили свой путь.

Тем временем лес окончился, и узкая лесная тропа, превратившаяся в достаточно широкую стёжку посреди дикого степного разнотравья, вывела казаков на берег реки. Река была относительно не широка, но в то же время достаточно полноводна. Моста, естественно, никакого не было (какой там мост в те времена), зато береговой *усынок* плавно переходил в добротную песчаную косу, которая, судя по тому, что стёжка доходила именно до неё, а потом выходила из воды на том берегу, явно служила здесь бродом.

И при этом в воде, прямо посредине косы, стоял огромный крытый тёсом воз, напрочь перекрывая собой переправу. Причем воз был поставлен таким образом, что въехать на брод, минуя его, было никак нельзя, а объехать по сторонам, учитывая явно немалую глубину реки, просто невозможно.

Воз был огромен и тяжёл, из тех, которые перевозят не менее чем шестёркой ломовых лошадей или двумя парами быков. Выпряженные быки из него, а также десятка два лошадей, мирно паслись рядом на прилегающем к реке пойменной лужке под присмотром моло-

дого, самозабвенно дудевшего себе на свирели пастушка. И всё это создавало умиротворенное, прямо-таки пасторальное настроение.

Но опытный глаз Дарташова мигом определил всю обманчивость ситуации, поскольку из-под опущенного полога воза подозрительно мелькали выглядывающиеся и тут же прячущиеся назад недобрые лица. Такие же лица, а также неуклюже выпирающие спины и задницы, причём некоторые из которых были явно в красных котыгах, изредка мелькали также среди камышей и кустов. В общем, ситуация была предельно ясна – опять рижельцы и опять засада...

Бузотёры молча перекинулись взглядами и было натянули поводья, готовясь бросить коней в атаку...

...Но тут путь Затёсу с Ермолайкой преградила предупреждающе поднятая рука Опанаса.

– Спокойно, паны-братья...

Остановив атакующий порыв друзей, Портосенко неспешно спешил (отчего его конь облегченно фыркнул), снял шапку и привычно засунул её себе за пояс, после чего скинул с плеч ремень с ружьями и хозяйственно приторочил их к арчаку седла. Оставляя оглобушку висеть на спине, Опанас с добродушной улыбкой на лице и с широко расставленными в стороны руками, показывающими его открытые ладони, шагом гуляющего увальня, направился к затаившейся засаде. Каждый шаг Опанаса сопровождался недоуменными взглядами и перешёптыванием «засадников», так и не уразумевших, что же именно надо этому странному запорожцу. А именно на этом непонимании и строился тонкий психологический расчёт Опанаса.

Воспользовавшись возникшим замешательством, Портосенко сумел вплотную приблизиться к злополучному возу. После чего, обернувшись по сторонам и вновь одарив всех присутствующих лучезарной улыбкой, он набрал в свою бочкообразную грудь воздуха и... неожиданно ГЫРКНУЛ...

Не по-украински «гаркнул» и не по-русски «крикнул», а именно показачьи «гыркнул», вложив в свой «гырк» весь боевой опыт народа-воина, веками отшлифовывавшего умение воздействовать боевым кличем на подсознание противника, а также всю немалую мощь своей лужёной глотки...

Его оглушительный, подобный иерихонской трубе, голос, взметнув в речную тишину замысловатую смесь волчьего воя и предсмертного хрипа, сразу же напрочь разрушил царившую атмосферу пасторальной идиллии. До сей поры мирно пасущиеся на лужке быки и лошади, с мычанием и ржанием шарахнулись в стороны, топча и сминая прячущихся по кустам людей. Сами же люди, как им и было положено по законам боевой психологии, на некоторое время опешили, при этом наиболее из них слабонервные даже выпустили из рук оружие и пустились наутёк.

И ещё не смолки отзвуки громового голоса, как Опанас быстро подошел к передку воза, нагнувшись, взялся за его оглобли, поднатужившись, их приподнял и... быстро развернул многопудовый воз вместе со скрывающимися в нём людьми на девяносто градусов, поставив его оглоблями на берег. Половина пути по броду была уже свободна...

Первыми сбросили с себя наваждение от казачьего «гырка» засадники, прячущиеся непосредственно в возу. Почувствовав, что их воз вместе с ними неведомым образом разворачивается, они, с трудом выходя от охватившего их панического оцепенения, стали вываливаться наружу. Там они, компенсируя предыдущую слабость нахлынувшей злобой, как собаки на медведя набросились на Портосенко. Постепенно к ним начали подключаться и их коллеги с берега...

Все вместе, числом не менее трёх десятков, они дружно напирала на Опанаса, бестолково, но что есть мочи лупя его тупыми концами оружия. Не отвечая на град сыплющихся на себя ударов, Опанас, как медведь через собачью свору, продрался к возу сбоку, нагнулся, взялся за него снизу, поднатужился и начал медленно-медленно его приподнимать...

...Удары становились все чаще и болезненней, а бьющих становилось всё больше и больше... И единственной защитой, что мог противопоставить им мужественный Портосенко, была только попытка втянуть непокрытую голову со слипшимся от крови запорожским чубом под высокий воротник колонтаря. Спина же и бока его при этом были открытыми, если не считать висящей сзади оглобушки, а руки заняты возом, медленно и неуклонно приподнимавшимся от воды всё выше и выше...

...Наконец, воз, достигнув критической точки наклона, сначала медленно накренился на бок, а потом, увлекаемый решительным напором Портосенко, перевернулся вверх днищем и рухнул вниз, с шумом и брызгами уйдя на глубину по самые торчащие кверху колеса. В этот момент Дарташов с Затёсом, воспользовавшись возникшей на переправе суматохой, сшибая конями оказавшихся на их пути ришельцев, стремглав проскочили через освободившийся брод и быстро оказались на другой стороне реки.

То, что они увидели, обернувшись назад, их весьма огорчило, если не сказать больше...

...Сбоку от торчащего из воды днища опрокинутого воза находилась толпа из нескольких десятков людей, причём людей чрезвычайно злобно орущих и воинственно размахивающих различным оружием... А между ними и возом, спиной к беснующейся толпе, находился их друг и бузотёр, запорожский казак Опанас Портосенко... лицо и колонтарь которого были полностью залиты кровью...

Славный простодушный Опанас только что ради своих друзей совершил настоящий подвиг. Подвиг, достойный былинных героев прошлого. Совершил... Но силы отдал ему все... причем без остатка... и потому развернуться к противнику лицом к лицу и хоть как-то ему противостоять он уже никак и не мог...

И последнее, что он сумел сделать, так это с трудом повернув своё окровавленное лицо в сторону спасшихся друзей, преодолевая боль, попытаться им улыбнуться своей добродушной улыбкой. И еле-еле размыкая слипшиеся от крови губы, с усилием и хрипом исторгнуть из глубины своего избитого тела:

– За друзи своя... – после чего, сломавшись под напором ударов, он упал лицом вниз на днище перевёрнутого им воза...

Как не ослаблен был голос Опанаса, но стоящие на противоположном берегу реки бузотёры, все же его слышали.

– За други своя... – дрогнувшими голосами вторили ему Ермолайка с Затёсом, и если бы они не были прирождёнными воинами, то при виде такого самопожертвования на их бы щеках, вероятно, могли бы появиться предательские слёзы...

Но, как известно, настоящие мужчины никогда не плачут. И особенно это относится к казакам... И, не имея возможности помочь своему другу, они молча перекрестились, после чего, стиснув зубы, развернули коней и отправились дальше. Теперь небольшую казачью кавалькаду замыкал конь с пустым седлом и притороченными к арчаку двумя турецкими ружьями...

Ускакав в степь, Затёс с Ермолайкой уже не увидели того, как от груза могучего тела запорожца воз сначала резко осел в воду и угрожающе накренился. Потом, сойдя с относительно мелкого места, медленно оторвался от брода и увлекаемый течением, не спеша поплыл, слегка покачиваясь на речной волне, унося на себе распостёртое тело Опанаса Портосенко. Унося его всё дальше и дальше от злобной толпы, оставшейся на мелководье бесноваться в своей бессильной ярости.

Впрочем, их ярость была вполне обоснованной, поскольку из оставшихся на броду ришельцев, набранных Ришельским-Гнидовичем на службу в Воронеже из какой-то лесной северной глухомани, увы, плавать никто не умел. А значит, и остановить, в буквальном смысле, уплывающего из их рук Опанаса никто из них не мог...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.